

12 СИБИРСКИХ СТУЛЬЕВ



ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ

Ярослав Золотарёв

12 сибирских стульев

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

12 сибирских стульев / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

1927 год. Сибирь не стала ни белой, ни красной: здесь демократическая республика со столицей в Томске, парламентом, земством и тремя партиями, которые никто не может отличить друг от друга, но все бурно спорят. Бывший предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, служащий загса в Калачинске, узнаёт от умирающей тёщи страшную тайну: бриллианты зашиты в стул из гарнитура, который он сам давно продал. В погоню бросаются Киса и великий комбинатор Остап Бендер, а за ними — отец Фёдор. Их ждут омские заговорщики, столичная дума, Эллочка-людоедка в баргузинском «соболе», тиражный пароход на Оби, шахматный турнир в Колывани, Чуйский тракт, землетрясение на Алтае и Байкал в шторм. Знаменитый роман Ильфа и Петрова, пересказанный в альтернативной Сибири: смешная сатира на всех сразу и при этом портрет страны, которая могла бы быть.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава I. Безенчук и нимфы	6
Глава II. Кончина мадам Петуховой	15
1.	15
2.	16
3.	18
4.	19
5.	21
6.	23
7.	24
Глава III. «Зерцало грешного»	26
1.	26
2.	27
3.	29
4.	31
5.	32
6.	33
7.	34
Глава IV. Муза дальних странствий	36
1.	36
2.	37
3.	38
4.	39
5.	41
6.	42
7.	43
8.	45
Глава V. Бойкий мальчик	47
1.	47
2.	49
3.	50
4.	51
5.	52
6.	53
7.	55
Глава VI. Продолжение предыдущей	57
1.	57
2.	59
3.	60
4.	61
5.	63
6.	65
7.	67
Глава VII. Великий комбинатор	69
1.	69
2.	70
3.	71

4.	72
5.	73
6.	75
7.	76
Глава VIII. Бриллиантовый дым	79
1.	79
2.	80
3.	82
4.	84
5.	86
6.	87
Глава IX. Следы «Титаника»	91
1.	91
2.	93
3.	94
4.	96
5.	97
Глава X. Голубой воришка	99
1.	99
2.	100
3.	101
4.	102
5.	103
6.	104
7.	106
8.	107
Глава XI. Где ваши локоны?	110
1.	110
2.	111
3.	112
4.	113
5.	114
6.	115
7.	117
Глава XII. Слесарь, попугай и гадалка	119
1.	119
2.	120
3.	122
4.	123
5.	124
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Ярослав Золотарёв

12 сибирских стульев

Глава I. Безенчук и нимфы

1.

В уездном городе Калачинске было так много кооперативных лавок и похоронных контор, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы вступить в пайщики, получить по паевой книжке полфунта монпансье и сразу же умереть. А на самом деле в Калачинске люди рождались, вступали и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей.

Кооперативов, впрочем, действительно было много. Было потребительское общество «Трудовой пахарь», было кредитное товарищество, было общество взаимного страхования от огня, ни разу не горевшее, была артель извозчиков из четырёх извозчиков и одного председателя. И была, разумеется, маслодельная артель — гордость уезда, о которой однажды написали в томской газете. У каждого кооператива было своё правление, своя ревизионная комиссия и своё годовое собрание с прениями. Если сложить все правления, комиссии и наблюдательные советы, выходило, что каждый взрослый калачинец заседает в среднем в полутора выборных органах. А некоторые заседали в трёх, в том числе в ревизионной комиссии, которая проверяла их самих. Претензий к себе комиссия не имела.

Политическая жизнь в Калачинске была бурной, но шла в основном в газетах. Газеты приходили из Омска с трёхдневным опозданием, и поэтому калачинцы с большим жаром ругали правительство, которое к тому времени уже успевало смениться. Это никого не смущало. Новое правительство, как правило, состояло из тех же людей, что и старое, только сидевших в другом порядке.

Калачинск стоял на магистрали. Мимо него на восток, не останавливаясь, шли вагоны-ледники с сибирским маслом — во Владивосток, а оттуда за море. В Томске это масло считали сибирским и очень им гордились, в Лондоне считали датским и гордились им тоже. С востока на запад шли платформы с американскими станками, укрытые брезентом, и калачинцы выходили на перрон смотреть на брезент. Индустриализация, о которой столько писали томские газеты, проезжала через Калачинск транзитом, со скоростью двадцать вёрст в час, и останавливаться здесь не собиралась. Начальник станции, человек образованный, называл это «историческим процессом в окне».

Весенние вечера были упоительны. Над Омью трещал лёд, грязь под луною сверкала, как кузнечий антрацит, а вся молодёжь города до такой степени была влюблена в секретаршу маслоартели, что это просто мешало ей собирать паевые взносы. Пайщики приходили вносить по три раза, а квитанций не брали.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака. Вопросы кооперации не волновали его тем более. В Калачинске он прожил девять лет, но ни в одно правление так и не был выбран, и калачинцы, когда говорили о нём, всё ещё говорили «приезжий».

2.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что пенсне негигиенично, он купил у омского оптика очки в черепаховой оправе, круглые и солидные. Очки ему понравились, но покойная жена, взглянув на него, ска-

зала, что в очках он вылитый кооператор из Закупсбыта. Для бывшего предводителя дворянства это было невыносимо. Очки достались дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык, носил их с удовольствием и через полгода был выбран в ревизионную комиссию потребительского общества.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении духа. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — не шутка и что погода нынче сырая. Было и третье приветствие, «гуд монинг», но его Ипполит Матвеевич не произносил никогда. Его произносили калачинские юноши в широких американских штанах, по вечерам, у дверей кинематографа, и Ипполит Матвеевич, проходя мимо, всякий раз морщился, как от ушиба.

Он сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколотки тесёмками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на нём красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Жилет был последним, что осталось от гардероба, вывезенного в восемнадцатом году из России. Остальное — фрак, шуба на хорьках, визитка и три дюжины крахмальных манишек — постепенно ушло на омских толкучках. Вместе с ними ушли деньги, кольца, серебряный кофейник, вера в скорое возвращение и, если говорить честно, большая часть самоуважения.

Ипполит Матвеевич приехал в Сибирь, как он сам выражался, переждать. Переждал он девятый год. Каждую весну он прочитывал в омской газете, что в Москве голод, или бунт, или расстрел, и каждую весну говорил теще: «Ну, маман, это уже конец». Конец не наступал. Большевики сидели в Москве, а Ипполит Матвеевич сидел в Калачинске. Дальше по-прежнему было ехать некуда, а назад — незачем.

Смахнув с седых, волосок к волоску, усов оставшиеся после умывания капли, Ипполит Матвеевич зверски ими пошевелил, провёл щёткой по коротко стриженным алюминиевым волосам пять раз левой и восемь раз правой рукой и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Рост его доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к Клавдии Ивановне с некоторым пренебрежением.

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке, — продолжала Клавдия Ивановна. — Она стояла у нас в омской гостиной, и у неё было такое лицо, как будто она что-то ищет.

От пушечного голоса тёщи задрожала висячая лампа с дробью в противовесе — единственная вещь в доме, которую Ипполит Матвеевич не продал, потому что за неё никто не давал денег.

— Я очень встревожена! Боюсь, не случилось бы чего!

— Ничего не будет, маман, — отдельно сказал Ипполит Матвеевич. — За воду вы уже вносили?

Оказалось, что не вносили. Калоши тоже не были вымыты.

Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия Ивановна была глупа, и её преклонный возраст не позволял надеяться, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у неё был такой силы, что позавидовал бы протодьякон омского собора. И самое ужасное, Клавдия Ивановна видела сны. Ей снились лошади, обшитые жёлтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах и вязальные

спицы, которые сами собой прыгали по комнате. В последнее время ей стали сниться ещё и стулья. Но о стульях она зятю не рассказывала.

Ипполит Матвеевич, слегка раздражённый, надел запятнанную касторовую шляпу и вышел из дому.

3.

По утрам Ипполит Матвеевич выходил из полутёмного домика на просторную, полную весеннего света улицу Свободной Сибири. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах, и самая образованная: она одна во всём Калачинске могла рассказать историю сибирского парламентаризма. На угловом доме висели таблички, прибитые одна под другой. Верхняя, ржавая, с ятем, гласила: «Губернаторская». Под ней шла «Свободы», с весны семнадцатого года. Ниже — «Учредительного собрания», это постарались эсеры, когда в девятнадцатом взяли в коалиции большинство. Ниже — «Восьмичасового рабочего дня», в честь социал-демократов, хотя никто на этой улице не работал больше трёх часов подряд. И наконец, в самом низу, свежая, бело-зелёная, только прошлой осенью прибитая областниками: «Свободной Сибири». Самое новое название висело ниже всех, у самой грязи, и его первым забрызгивали проезжающие телеги. Калачинцы, впрочем, называли улицу по-прежнему Губернаторской, хотя губернатора в Калачинске не было никогда.

По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стёклами, серебрились гроба похоронной артели «Нимфа». Вывеска у неё была длинная, как устав: «Похоронная артель „Нимфа“. Паевой капитал 600 руб. золотом. При содействии Омского губернского земства». Справа, за маленькими окнами с обвалившейся замазкой, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гроба гробовых дел мастера Безенчука. Его вывеска была короткой и гордой: «Безенчук. Основанъ въ 1907 году». Твёрдые знаки Безенчук не стёр из принципа: это было единственное, в чём он не уступил ни революции, ни кооперации.

Дальше «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулясион на дому». За ним стоял молитвенный дом евангельских христиан-баптистов, недавно выкрашенный в белое, с вывеской на двух языках: «Добро пожаловать» и пониже, американскими буквами, «Welcome». Выкрасили его на деньги, присланные братьями из Сиэтла, и это был единственный дом в Калачинске, у которого крыльцо не скрипело. А ещё дальше, на пустыре, стоял палевый телёнок и нежно лизал поржавевшую, прислонённую к одиноким торчащим воротам вывеску: «Погребальное товарищество „Вечный покой“. Ликвидировано по постановлению общего собрания пайщиков». Даже умерло оно здесь по большинству голосов.

Хотя похоронных заведений было много, клиентура у них была небольшая. Люди в Калачинске умирали редко, а умирая, норовили сделать это в Омске, у сына, где и хоронили их по-омски, с оркестром пожарной дружины.

У входа в своё заведение стоял, прислонясь к косяку и скрестив руки, мастер Безенчук. От систематических крахов коммерческих начинаний и долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза его были ярко-жёлтыми, как у кота, и горели неугасимым огнём.

— Почёт дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял касторовую шляпу.

— Как здоровье вашей тещеньки, разрешите, такое нахальство, узнать?

— Мр-р, мр-р, — неопределённо ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, последовал дальше.

— Ну, дай ей бог здоровычка, — с горечью сказал Безенчук ему в спину. — Одних убытков сколько несём, туды его в качель. Нимфам-то что, у нимф ссуда. Им и покойник не нужен, им земство платит.

И снова прислонился к двери.

У врат «Нимфы» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владелец, или, как они сами себя называли, членов артели было трое: председатель правления, казначей и ревизионная комиссия. Все трое были между собой в родстве и все трое поклонились Ипполиту Матвеевичу враз, но в строгом порядке старшинства должностей.

— Как здоровье Клавдии Ивановны? — хором осведомились они.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич. — Что ей сделается. Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было обозрение во сне.

Три «нимфы» переглянулись и громко вздохнули. Председатель что-то шепнул казначею, казначей кивнул, а ревизионная комиссия записала карандашом на манжете.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути.

4.

На службу Ипполит Матвеевич пришёл, против обыкновения, тогда, когда часы над столом показывали пять минут десятого. Под часами висел лозунг. Его привёз из Омска прошлой зимой инспектор губернского земства, человек молодой, бывавший в Сан-Франциско, и сам приколотил к стене. Лозунг был написан по-английски: «Time is money». Перевести его в учреждении не мог никто, кроме инспектора, но инспектор уехал, и надпись осталась висеть как украшение. Ипполит Матвеевич, знавший французский, читал её на свой лад, с прононсом, и полагал, что речь идёт о тимьяне.

— Дядя Сэм опоздал!

Дядей Сэмом Ипполита Матвеевича прозвали в учреждении за большой рост, худобу и особенно за усы, хотя у настоящего Дяди Сэма, которого все видели на плакате в омском отделении Американского торгового общества, была бородка, а не усы. Кто такой Дядя Сэм, Ипполит Матвеевич не знал. Он думал, что это какой-то американский дипломат, и прозвищем втайне гордился.

Учреждение называлось длинно: «Отдел записи актов гражданского состояния Калачинской уездной земской управы». На вывеске название не поместилось, и последние два слова пришлось вписать мелко, на самом краю. Работали в отделе четверо. Ипполит Матвеевич ведал столом регистрации смертей и браков, переписчик Сапежников — столом рождений, а две барышни — всеми остальными столами, которых не было.

Трое сослуживцев были чалдоны, коренные сибиряки, и к Ипполиту Матвеевичу относились без злобы, но с тем вежливым любопытством, с каким относятся к иностранцу. За глаза они звали его «рассейским». Это слово не было ругательным, оно было географическим, и именно поэтому обижало Ипполита Матвеевича больше всего. Он был не рассейский, он был русский, а все они, по его глубокому убеждению, были провинция. Но доказать это было нечем. В ящике его стола, рядом с войлочной подушечкой, лежало беженское удостоверение, выданное в 1918 году Омским комитетом помощи беженцам: «Воробьянинов Ипполит Матвеевич, бывший предводитель дворянства, прибыл из Европейской России, нуждается в жилье и пособии». Пособие он давно прожил, жилье нашёл, а удостоверение хранил, как хранят обратный билет. Ехать по нему было некуда.

Вынув подушечку, Ипполит Матвеевич положил её на стул, придал усам направление, параллельное линии стола, и сел, несколько возвышаясь над сослуживцами. Геморроя он не боялся. Он боялся протереть брюки, вторых таких в Сибири было не достать.

За его манипуляциями застенчиво следили двое молодых людей — мужчина в суконном пиджаке на вате и девица в длинном жакете, обшитом чёрной тесьмой. Мужчина был подавлен служебной обстановкой, запахом дешёвых чернил, часами и особенно непонятным английским лозунгом, в котором ему чудилась какая-то гадость. Девица пошептала с мужчиной и, потя от стыда, стала подвигаться к перильцам.

— Господин, — сказала она, — где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич поглядел на чету поверх пенсне.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина и растерянно оглянулся.

История была простой и для Калачинска обычной. Мать невесты требовала венчаться у отца Фёдора в церкви Фрола и Лавра, как положено. Брат жениха, побывавший на заработках в Харбине, ходил к баптистам и звал всю семью туда, где не берут денег за свечи и поют под фисгармонию. Спорили две недели. Наконец решили записаться в земстве, где не надо ни свечей, ни фисгармонии, а потом, для спокойствия, сходить и к отцу Фёдору, и к баптистам. Ни нашим, ни вашим, а всем понемножку. Так в Сибири решались многие дела, включая правительственные.

Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстую книгу, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на штамп и оттиснул его на земских удостоверениях личности. Приняв от молодожёнов рубль золотом и выдав квитанцию, он усмехнулся:

— За совершение таинства. И, заметьте, безо всякого отца Фёдора.

Потом поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь: в свое время он нашивал корсет. Толстые жёлтые лучи солнца легли ему на плечи, как эполеты.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выпрепно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно.

Молодые стояли, как барашки. Ипполит Матвеевич пожал им руки, сел и, весьма довольный собою, раскрыл скоросшиватель № 2.

За соседним столом служащие хрюкали в чернильницы:

— Дядя Сэм опять проповедь читал.

5.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поёживаясь от весеннего холода, разбредались по своим делам: одни в потребительское общество, другие в кредитное товарищество, третьи, самые счастливые, никуда.

Ровно в полдень запел петух на дворе маслоартели «Сибирская Дания». Никто этому не удивился. Петух принадлежал председателю правления и пел по уставу, раз в сутки, за что получал из общих средств полфунта отрубей в неделю. Однажды на годовом собрании ревизионная комиссия поставила вопрос о нецелевом расходовании отрубей, но собрание большинством голосов признало петуха служебным.

Потом раздалось металлическое криканье, и с улицы Свободной Сибири выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Криканье усилилось. Из дыма вскоре выступили контуры земского фордзона — серого, ребристого, с огромными задними колёсами, на которых налипло по пуду калачинской грязи. На железном сиденье, подпрыгивая, сидел уездный агроном Кузнецов и держал руль с таким лицом, с каким держат знамя. Трактор прислали из Омска по программе механизации, первый и пока единственный на уезд. Пахать на нём было ещё рано, и агроном ездил на нём показывать прогресс.

Фордзон, барахтаясь в грязи, пересёк Базарную площадь, напугал чью-то лошадь, развернулся у пожарной каланчи и, колыхаясь, исчез в собственном дыму. Служащие долго ещё стояли у окна.

— Это что же, — сказала одна из барышень, — индустриализация к нам пришла?

— Не пришла, — рассудительно ответил Сапежников. — Проехала. Индустриализация — это когда завод. А это трактор. Американский.

— А на какие деньги трактор, если у земства на дрова денег нет? — спросила другая барышня, и все разом посмотрели на Ипполита Матвеевича, потому что из всех служащих он был самым старым и, следовательно, самым сокращаемым.

Через некоторое время по деревянным мосткам противоположной стороны площади осторожно прошёл мастер Безенчук. Безенчук целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полновзвучное чавканье. Старушку, пришедшую записать внучонка, отогнали на середину площади. Переписчик Сапежников начал свой досконально всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить. Ничего больше от него нельзя было добиться.

— Ну вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы изволили сказать, что поехали на Барабинские озёра за гусем. Ну а дальше что?

— А дальше, значит, приезжаем на озеро. Весна, лёд сошёл, гусь идёт с юга, сила гуся. Ну, мы с Григорием Васильевичем, понятно, для сугреву раздавили полбутылочку. Потом ещё диковинку. Тут подъезжает на телеге Дачников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан...

— Живой? — с надеждой спросил Ипполит Матвеевич.

— Какой живой, четвертуха! Казённого вина, с земским акцизом, по всей форме. Ну, вчетвером целого гуся одолели и легли спать, тем более что на зорьке вставать. Утром встаём — темно, холодно, драже прохладительное... У меня полшишки нашлось. Выпили, чувствуем, не хватает. А в деревне там колдовница такая есть, самогоном торгует мимо акциза, земство с ней третий год судится. Баба двадцатку донесла...

— Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились. Что с Григорием Васильевичем делалось! А Дачников опять на телеге укатил. «Не расходитесь, говорит, ребята, я ещё кой-чего довезу». Ну и довёз. И всё сороковками, других у колдовницы не было. Даже собак напоили.

— А гусь?! Гусь?! — закричали все.

— Гусь был, — твёрдо сказал Сапежников. — Два гуся было. Оба Дачников привёз.

— Я про живого спрашиваю!

— С пьяными собаками какой же живой гусь? — обиделся Сапежников. — Он же видит.

— М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.

Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака и завершился.

6.

Служебный день подходил к концу. На колокольне церкви Фрола и Лавра что есть мочи забили в колокола. Через минуту, словно в ответ, в баптистском молитвенном доме заиграла фисгармония. Дрожали стёкла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью, не пришли ни к какому решению и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошёл рыжий бородатый милиционер в тулупе с косматым воротником и в форменной фуражке с бело-зелёным околышем. Околыш был новый, а фуражка старая, и по ней, как по табличкам на улице Свободной Сибири, можно было прочесть все смены власти: на сукне остались следы от трёх прежних кокард. Под мышкой милиционер осторожно держал разносную книгу в засаленном полотняном переплёте. Застенчиво ступая слоновыми сапогами, он подошёл к Ипполиту Матвеевичу и налёг грудью на тщедушные перильца.

— Здравствуйте, господин-товарищ, — густо сказал милиционер, не решив, как в этом учреждении принято обращаться. — Начальство до вас прислало, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Ипполит Матвеевич расписался в получении и принялся читать бумагу.

«Служебная записка. В отдел записи гражданского состояния. Гражданин Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился, в 3 часа 15 минут утра. Так ты его запиши вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Григорий, в честь Григория Николаевича Потанина, отца сибирской автономии, а фамилия моя.

С революционным, областническим и социал-демократическим приветом (подчеркнуть по обстановке)

замначальника уездной земской милиции Перервин».

Подчёркнуто ничего не было. Замначальника милиции был человек осторожный: правительство в Томске менялось чаще, чем околыши на фуражках, а записи в книгах загса хранились вечно.

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди, тем более что её никогда и не бывало, зарегистрировал дитя милиции. Против имени Григорий он с мстительным удовольствием вывел старушечьим почерком: «в честь Потанина», хотя такой графы в книге не было.

От милиционера пахло махоркой и дёгтем, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда тот ушёл.

Пора было уходить и ему. Всё, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотел сочетаться, сочетались и тоже были записаны. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, проверил, на месте ли беженское удостоверение, распушил гребёной усы и уже собрался уходить, мечтая об огнедышащем супе, как дверь канцелярии распахнулась и на пороге появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почёт дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера и сияла в сумерках, сказать он ничего не смог.

— Ну? — строже спросил Ипполит Матвеевич.

— «Нимфа», туды её в качель, разве товар даёт? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? У них устав, у них ссуда, у них ревизионная комиссия, а кисти нету. Гроб — он одного лесу сколько требует! А они — паевой. Это что ж за гроб такой, паевой? Его ж всем обществом делают, а лежать в нём одному.

— Ты что же это, с ума сошёл? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди своих гробов.

Безенчук предупредительно распахнул дверь и увязался следом, дрожа как бы от нетерпения.

— Ещё когда «Вечный покой» был, тогда верно. Против ихнего глазету даже в самом Омске никто выстоять не мог. А как они себя по голосованию ликвидировали, прямо скажу — лучше моего товару нет. Фирма старая. Основана в тысяча девятьсот седьмом году, при государе. У меня гроб как огурчик, отборный, на любителя...

Ипполит Матвеевич обернулся, посмотрел на Безенчука довольно сердито и зашагал быстрее. Никаких неприятностей по службе с ним сегодня не случилось, но чувствовал он себя гадостно.

Трое членов артели «Нимфа» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких он оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в их лицах, таинственная удовлетворённость, томно мерцавшая в глазах, показывала: им известно кое-что значительное. Ревизионная комиссия держала руки за спиной, но было видно, что на манжете у неё прибавилось записей.

При виде коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рубля. Золотом.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук. — Не хуже ихнего товарищества.

Трое же членов «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились за Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь в порядке старшинства должностей.

7.

Рассерженный вконец глупыми приставами гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздражённо соскрёб о ступеньку калачинскую грязь с сапог и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошёл в сени. Навстречу ему из комнаты вылетел священник церкви Фрола и Лавра отец Фёдор, пышущий жаром. Подобрал правой рукой рясу и не замечая Ипполита Матвеевича, отец Фёдор пронёсся к выходу с таким лицом, будто только что услышал что-то такое, что не терпит отлагательства. На крыльце он споткнулся, сказал «Господи помилуй» и ещё одно слово, которое священнику говорить не полагается, и исчез.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаз беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу от сильного лекарственного запаха. В первой комнате его встретила соседка, жена уездного агронома мадам Кузнецова. Она зашипела и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты.

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Это фельдшер сказал. А Аркадий Петрович говорит, что организм — он как почва: если его сорок лет не удобрять, он истощается, и тут уже никакой трактор не поможет.

Аркадием Петровичем звали агронома. Мадам Кузнецова цитировала мужа по любому поводу, как другие цитируют Писание, и знала наизусть его лекцию о травопольном севообороте, хотя ни разу в жизни не видела поля, на котором его применяли.

— Я сегодня весь день на ногах, — продолжала она. — Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже. Ну, думаю, Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей, она давеча собиралась. Мука-то у нас, сами знаете, дешёвая, своя, сибирская, не то что у вас в России. Да только кооператив по пятницам закрыт на заседание правления, и если не купишь в четверг...

Мадам Кузнецова долго бы ещё рассказывала про муку, про правление, которое заседает по пятницам, и про то, как нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии. Но из соседней комнаты раздался стон, и он больно поразил слух Ипполита Матвеевича.

Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошёл в комнату тёщи.



Глава II. Кончина мадам Петуховой

1.

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова её была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в такой моде в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинское танго. Чепец пересёк вместе с хозяйкой Урал, пережил две власти, три перемены денег и девять сибирских зим и выглядел теперь так, как выглядит флаг давно распущенного полка. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна, — позвал Воробьянинов.

Тёща быстро зашевелила губами, но вместо привычных трубных звуков Ипполит Матвеевич услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но ответа снова не получил. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Фельдшер не велел её беспокоить. Вы, голубчик, вот что. Сходите в аптеку. Нате рецепт и узнайте, почём пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всём покорился мадам Кузнецовой, чувствуя её неоспоримое превосходство в этих делах.

Аптека в Калачинске была одна и принадлежала, как всё в Калачинске, потребительскому обществу «Трудовой пахарь». Над её дверью висел стеклянный шар с зелёной жидкостью и вывеска: «Аптека № 1. Пайщикам — скидка 5 %». Аптеки № 2 не было никогда, но правление верило в будущее.

2.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав рецепт в кулаке, Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Рядом сидели на корточках трое членов «Нимфы» и, облизывая ложки, ели из одного чугунового горшка гречневую кашу. Ели они строго по очереди, в порядке старшинства должностей, как и полагается артели, живущей из общего котла. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в сторону конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами. Пайщики.

Посреди Базарной площади, у бюста Григория Николаевича Потанина, велись оживлённые разговоры, вызванные известием о тяжёлой болезни Клавдии Ивановны.

Бюст поставили в двадцать первом году, через год после смерти старика, на деньги, собранные по подписке всеми калачинскими кооперативами. Потанин вышел у уездного скульптора маленьким, бородатым и очень строгим, похожим одновременно на апостола и на ревизора. На цоколе была высечена его знаменитая фраза: «Пусть каждая область зажжёт своё солнце». Первую ночь после торжественного открытия бюстик простоял чистым. На вторую ночь на его медной спине появилось крупно написанное мелом короткое ругательство. С тех пор, как ни старалась земская милиция, ругательство появлялось каждую ночь, иногда с орфографическими ошибками, иногда без, смотря по тому, кто дежурил.

Кто его пишет, знал весь Калачинск. В городе жило десятка два эмигрантов, вроде Ипполита Матвеевича, только деятельнее: два отставных полковника, капитан без полка, бывший тульский помещик, присяжный поверенный, не имевший практики, и несколько молодых людей неопределённых занятий, называвших себя «корнетами». По вечерам они собирались в задней комнате трактира, гордо именовавшейся «Русским собранием», пили там казённую водку и ругали Сибирь. Сибиряков они считали жлобами и предателями, которые в восемнадцатом году, вместо того чтобы идти всем миром освобождать Москву, заключили с ней мир и сели сбивать масло. Республику они называли не иначе как «маслобойной», а Потанина — главным виновником всего. Почему-то хозяйственные производители масла не захотели рисковать своими головами ради возвращения московским дворянам их имений, и корнеты не могли им этого простить.

Сибиряки на корнетов не обижались. Они их кормили. Корнеты служили конторщиками в кооперативах, давали уроки французского дочерям маслоделов и танцевали на свадьбах за угощение. А ругательство на бюсте по утрам смывал дворник, тот самый, что носил очки Ипполита Матвеевича и был теперь членом ревизионной комиссии. Он смывал его с выражением глубокого государственного презрения.

Политические партии, впрочем, использовали ругательство по-своему. На уездном земском собрании его дважды обсуждали в прениях. Эсеры намекали, что мел покупают на деньги областников, областники — что эсеры нарочно не ловят виновных, чтобы было о чём говорить, а социал-демократы предлагали создать комиссию. Комиссию создали, но в неё вошли по одному представителю от каждой партии, и она до сих пор не могла договориться, кто будет её председателем.

Общее мнение собравшихся у бюста горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно откликавшийся, впрочем, на имя Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицине. Почерпнуты они были из американского иллюстрированного журнала, привезённого кем-то из Харбина и лежавшего в

его заведении для услаждения бреющихся граждан. Английского Андрей Иванович не знал, но картинки понимал прекрасно.

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Америке, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость захватил!

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же человек!

Палаточник Прусис, бывший учитель из латышских колонистов, а ныне продавец кооперативной лавки, даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Америке, по данным последней переписи, сто двадцать миллионов жителей. Так, значит, нужно сто двадцать миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и чёрт знает до чего дошёл бы, если бы в конце улицы Свободной Сибири не показался бегущий иноходью Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи, значит, дела.

— Помрёт старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой ходит.

— А доктор что говорит?

— Какой доктор? Земский доктор один на весь уезд. Он сейчас в Ереминке роды принимает, а оттуда три дня ходу. Фельдшер был.

«Пьер и Константин», давно порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:

— Теперь вся сила в витаминах. Американцы открыли.

Сказав это, он умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственной силе витаминов.

Когда луна поднялась и её мятный свет озарил бюстик, на медной спине Григория Николаевича уже можно было ясно разобрать свежее, крупно написанное мелом ругательство. «Русское собрание» в тот вечер открылось рано.

В деревянных домиках с наружными ставнями пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять времени и разошлись. Подул ветер...

3.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штiblетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Один раз она отчётливо сказала: «Двенадцать», — и замолчала.

Ипполит Матвеевич, уставший волноваться, ходил по комнате, и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, что придётся брать ссуду в кредитном товариществе, куда его так и не приняли в пайщики, и, значит, под поручительство. Что придётся бегать за отцом Фёдором и платить за отпевание, а отец Фёдор в последнее время брал дорожку, жалуясь, что баптисты отбивают у него прихожан. Что придётся отвечать на соболезнующие письма родственников, которых, впрочем, почти не осталось: одни были в Париже и не писали, другие в Москве и писать боялись.

Чтобы рассеяться, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зелёном свете луны стоял Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая картуз к груди.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды её в качель, разве товар даёт? — заволновался Безенчук.

— Да пошёл ты к чёрту! Надоел!

— Я ничего. Я насчёт кистей и глазета, как сделать, туды их в качель. Первый сорт прима? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая, что всё понимает, повернулся и, балансируя картузом, но всё же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что гробовой мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после того, как революция похитила у него большие удобства и широкие привычки, а Сибирь не вернула ни тех, ни других.

«Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице замначальника милиции? На сестре Прусиса, Варваре Степановне, которая читает в кооперативной библиотеке Кропоткина? Или нанять прислугу? Куда там. В Калачинске у прислуги профсоюз. Затаскает по примирительным камерам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. И, полный негодования и отвращения к своей жизни, он вернулся в дом.

4.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лёжа на подушках, она посмотрела на вошедшего вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тёщи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее, но улыбка вышла дикая, а ободряющих слов не нашлось. Из его горла вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила тёща, — помните вы наш гостиный гарнитюр?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем в цветочек... В Омске...

— Помню, отлично помню. Диван, два кресла, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская. Мы её ещё из России... То есть, нет, она в Омске стояла, в доме, ещё до... А почему вы вспомнили?

Гарнитур действительно был омский. Дом в Омске Воробьяниновы купили ещё до войны, когда Ипполит Матвеевич, тогда ещё уездный предводитель, мечтал о сибирских концессиях и даже ездил смотреть какие-то прииски. Прииски оказались пустыми, а дом остался. В восемнадцатом году, когда в России стало страшно, именно туда они и бежали — в свой дом, к своей мебели, в город, где, как уверяли газеты, стояли белые.

Лицо Клавдии Ивановны стало медленно покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчётливо вспомнил омскую гостиную: симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, коричневый рояль и овальные чёрные рамочки с дагерротипами сановных родственников.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве вы их не продали ещё в восемнадцатом? Вы же говорили, что всё ушло на дорогу!

— Я их вывезла, — упрямо сказала старуха. — На себе. Женщину не обыскивают. Вас на станции Глазов обыскивали три раза, а меня ни разу. А в Омске я зашила их в стул.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещённое керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши бриллианты?! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул? Девять лет?! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. — Вы бы пустили по ветру и бриллианты.

Она помолчала и добавила:

— Вы и пустили.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове загудело.

— Что значит — пустил?

— Вы продали гарнитур. В двадцатом году, весной. Я ушла ко всенощной, а когда вернулась, в гостиной было пусто. Только круглый столик остался, потому что у него ножка шаталась и за него не дали цены. А бриллианты были в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

Ипполит Матвеевич смотрел на неё с ужасом.

— И вы молчали?! Семь лет?!

— Вы бы их и так не нашли, — равнодушно сказала старуха. — А я каждый день смотрела, как вы ходите на службу в этом жилете. Мне было приятно.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом и, уже не стесняясь того, что стоит у постели умирающей, с грохотом отодвинул столик и засеменил по комнате. — Сто тысяч! Засадить в стул бриллиантов на сто тысяч золотом! В стул, на котором неизвестно кто сидит!

Пенсне от злобы свалилось у него с носа, мелькнуло у колен золотой дужкой, грянулось об пол и распалось на мелкие дребезги.

— Кому?! — закричал он. — Кому я его продал? Вы же знаете, вы всё знаете! Говорите!

— В комиссионный, — сказала старуха. — На Любинском. К этому... с бородой... Его фамилия...

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука её, описав полукруг, попыталась ухватить Ипполита Матвеевича и упала на стёганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к агрономше.

— Умирает, кажется.

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом Аркадием Петровичем, побежала в дом. Сам Ипполит Матвеевич ошеломлённо забрёл в городской сад.

5.

И покуда чета агрономов с их прислугой, состоявшей в профсоюзе, прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду. Без пенсне он натыкался на скамейки, принимал окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, а сверкающие под луной кусты — за бриллиантовые кущи.

В голове его творилось чёрт знает что. Вспоминалось ему всё сразу и вперемешку, как бывает с людьми, которых обухом ударили по голове.

Вспомнился ноябрь восемнадцатого года, Омск, вокзал. Они ехали к белым. В Глазове им так и сказали: в Сибири белые, порядок, офицеры, там вас встретят. Встретили. На вокзальной площади висели два флага: один бело-зелёный, областнический, а другой красный, эсеровский, с надписью «В борьбе обретёшь ты право своё». Ипполит Матвеевич увидел красный флаг, побледнел и хотел ехать обратно, но обратно поезда не шли, потому что с Москвой только что заключили перемирие.

Белые в Омске действительно были, только совсем не такие, каких ждал Ипполит Матвеевич. Офицеры сидели по кафе и кричали друг на друга, а правили городом и страной эсеры, кооператоры, земцы и присяжные поверенные. Все они были вежливы, никто Ипполита Матвеевича не расстреливал, но никто и не собирался возвращать ему имение. Беженский комитет выдал ему пособие на общих основаниях, в одной очереди с полтавскими переселенцами, и молодая барышня-эсерка, выдавая деньги, спросила: «А вы, гражданин, по какой специальности?» Ипполит Матвеевич ответил: «Предводитель дворянства». Барышня записала это в графу «профессия» и потом долго выясняла у начальства, по какой части это проходит — по маслоделию или по кредиту.

Дворяне в Сибири оказались никому не нужны. Здесь их никогда и не было, здесь не было даже слова, которым можно было бы их обругать. Мужики на базаре смотрели на Ипполита Матвеевича не с ненавистью, к которой он приготовился, а с любопытством, как на верблюда. «Рассейский», — говорили они и шли по своим делам.

Жить, однако, было надо, а жить Ипполит Матвеевич умел только широко. Привезённые деньги кончились к весне девятнадцатого года. Тогда начали продавать вещи. Сначала шубы, потом серебро, потом картины. Весной двадцатого года дошла очередь до гарнитура. Ипполит Матвеевич ясно вспомнил, как два ломовика выносили стулья, а он стоял на крыльце и считал: «Восемь... девять... двенадцать». Вспомнил контору комиссионного магазина на Любинском проспекте, бородатого хозяина и пачку сибирских денег, которую ему отсчитали. Хозяина он не запомнил, а пачку запомнил хорошо, потому что она была очень толстая.

Вечером того же дня в ресторане «Аквариум» он пропил и проел её всю, с цыганами, с икрой и с двумя капитанами, которые потом куда-то исчезли. Ипполит Матвеевич и сейчас считал, что поступил тогда правильно. Была инфляция. Сибирские деньги дешевели каждый день, утром за обед брали тысячу, вечером — полторы. Держать их было бессмысленно. Это он помнил твёрдо.

Где-то в глубине его сознания тихий голос, очень похожий на голос покойной Клавдии Ивановны, напоминал, что в то же самое время в Омске можно было купить на эти деньги американские доллары, японские иены, золотые десятки, наконец. Что многие так и делали и теперь живут в Томске в собственных домах. Ипполит Матвеевич отмахнулся от этого голоса. Доллары были чем-то купеческим. Предводитель дворянства не мог покупать доллары. Он мог только пропивать.

Через год, в двадцать первом, продали и дом. Ипполит Матвеевич всё надеялся, что вот-вот вернётся в Россию, а там у него будет своё, и омский дом ему ни к чему. В Россию он не вернулся, деньги за дом ушли, как ушли деньги за гарнитур, и вскоре Воробьяниновы оказа-

лись в Калачинске, где жизнь была дешевле и где в земском загсе нашлось место для человека с хорошим почерком. К бедной жизни Ипполит Матвеевич так и не привык. Но пришлось.

6.

Теперь всё это было неважно. Теперь в саду, натываясь на скамейки, Ипполит Матвеевич считал.

Сто тысяч рублей золотом. Довоенный рубль — это, кажется, пол-американского доллара с небольшим. Значит... Ипполит Матвеевич остановился посреди аллеи, пошевелил губами, сбился, начал снова и наконец сказал вслух, так что сидевшая на скамейке парочка вздрогнула и отодвинулась:

— Пятьдесят тысяч долларов!

Он никогда в жизни не считал в долларах. Доллары считали маслоделы, экспортёры и американские миссионеры. Но сейчас эта цифра понравилась ему больше всех рублей на свете. В ней было что-то окончательное.

Звучали цыганские хоры. Грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго. Представлялся ему владивостокский пароход с белыми трубами, каюта первого класса, Шанхай, где, говорят, можно жить как в Париже, а потом и сам Париж. Хотя нет, Париж потом, сначала Ницца. Представлялся ему ресторан в Харбине, где лакеи до сих пор говорят «ваше превосходительство», и чёрный длинный автомобиль, презрительно крякающий на пешеходов. Много представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и то, как он вернётся когда-нибудь в Калачинск и пройдёт мимо загса в новом пальто, не заходя.

Но тут же его облило холодом сомнений.

— Как же я их найду?

Цыганские хоры сразу умолкли.

— Где эти стулья теперь искать? Семь лет! Комиссионка на Любинском — есть ли она ещё? Хозяин с бородой — жив ли? Книги — сохранились ли? А если и сохранились, их, конечно, растащили по всему Омску. По всем этим пыльным учреждениям, по кооперативам, по правлениям, по ревизионным комиссиям, вроде моего загса...

7.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лёжа в тулупе поперёк садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая давешний разговор, — гроб — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются. Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, преставилась. А которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдаёт.

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. Мужик, тот ноги протянул. Кооператор — тот пай свой вернул. Гласный земский — из списков выбыл. А который партийный, так тот, смотря по партии, в оппозицию перешёл. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясённый этой несколько странной классификацией, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?

— Я человек маленький. Скажут: «Гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

И строго добавил:

— Мне дуба дать или в ящик сыграть — невозможно. У меня комплекция мелкая. А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто так без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперёд. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким, как вафля, льдом. На улице Свободной Сибири ветер дрался с вывесками и раскачивал все пять табличек на угловом доме, так что они стучали друг о друга, как члены коалиции. Со стороны Базарной площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал обоз вольной пожарной дружины на тощих лошадях. Пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами:

— Нашему брандмейстеру слава! Выбранному общим собранием дружины гражданину Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстера сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Свадьбу-то, между прочим, в загсе у вас записывали, а венчали у отца Фёдора, а потом ещё к баптистам ходили. Для верности. Так неужто так-таки без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже всё решил. «Поеду в Омск, — решил он. — Найду. А там... посмотрим». И в бриллиантовых мечтах даже покойная тёща показалась ему милее, чем была.

Он повернулся к Безенчуку:

— Чёрт с тобой! Делай! Глазетовый. С кистями.

— Можно в кредит, — с готовностью сказал Безенчук.

— В кредит, — величественно согласился Ипполит Матвеевич. — Я теперь человек кредитоспособный.



Глава III. «Зерцало грешного»

1.

Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра отец Фёдор Востриков вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже. На крыльце он споткнулся и сказал слово, которого священнику говорить не полагается, а всю дорогу до своей квартиры прошёл, рассеянно глядя по сторонам и смущённо улыбаясь.

Тайна исповеди жгла ему грудь, как горчичник. Старуха рассказала ему всё: про омский гарнитур, про бриллианты, зашитые в стул, про то, как зять продал мебель, пока она стояла у всенощной. И рассказала ещё одно, чего, как понял отец Фёдор по её злорадному шёпоту, не собиралась говорить зятю никогда: название комиссионного магазина на Любинском проспекте и фамилию его бородатого хозяина. Фамилию эту отец Фёдор повторял про себя всю дорогу, как повторяют тропарь, чтобы не сбиться, и дважды поймал себя на том, что произносит её вслух.

К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под земский фордзон. Агроном Кузнецов, возвращавшийся с показательного выезда, затормозил так, что трактор встал на дыбы, как конь на памятнике, и выпустил облако фиолетового дыма.

— Батюшка! — закричал агроном. — Механизация не разбирает чинов!

Выбравшись из тумана, напущенного земской машиной, отец Востриков пришёл в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом. По дороге он думал уже не о старухе, а о справедливости. Мысли эти были приятные и текли сами собой, как масло из сепаратора.

2.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. В свободные от всенощной дни отец Фёдор любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и тёплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, заперся там и глухим голосом запел «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял! Опять как с Неркой кончится.

Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Фёдор с преогромным трудом купил в Харбине за сорок рублей золотом, куда ездил будто бы по епархиальным делам. Замысел был простой и, как все замыслы отца Фёдора, великолепный. В Калачинске имелся единственный на весь уезд породистый бульдог-медалист, крутобокий, мордатый, вечно чихающий кобелёк с родословной на английском языке. Принадлежал он пресвитеру местной баптистской общины брату Сидоренко, которому его прислали в подарок братья из Сиэтла вместе с фисгармонией. Отец Фёдор задумал свести Нерку с баптистским медалистом, а регулярно получаемый приплод продавать в Омске любителям.

То, что жених принадлежал конкуренту по вере, отца Фёдора поначалу смущало. Но он рассудил, что собака веры не имеет, а дело есть дело. Попадья, однако, ахнула и со всей твёрдостью заявила, что «конского завода» не допустит, тем более с баптистами. Сладить с отцом Фёдором было невозможно. После трёхдневной ссоры Катерина Александровна покорилась, и воспитание Нерки началось.

Еду собаке подавали на трёх блюдах. На одном лежали квадратные кусочки варёного мяса, на другом — манная каша, а в третье блюдечко отец Фёдор накладывал мерзкое месиво из рыбьей муки, уверяя, что в нём содержится большой процент фосфора, так необходимого молодой собаке. Рецепт он вычитал в американском журнале, который давал ему почитать, не подозревая о последствиях, агроном Кузнецов. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст.

Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, и Катерина Александровна, взяв с собой три рубля и стараясь не смотреть на молитвенный дом, повела благоухающую невесту к брату Сидоренко. Брат Сидоренко принял деньги, пожелал попадье благословения Господня по-баптистски, без креста, и выпустил медалиста. Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.

Отец Фёдор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы показалась упитанная фигура Катерины Александровны. Сажень в тридцати от дома она остановилась поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмёрки и параболы.

Но уже через минуту гордость, обуявшая душу отца Фёдора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла выкатился большой одноглазый пёс Марсик, известный всей улице своей порочностью. Марсик принадлежал отставному полковнику Чарнолуускому из «Русского собрания» и был, как говорили в Калачинске, единственным эмигрантом, который в Сибири ни в чём себе не отказывал. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с явно матримониальными намерениями.

Отец Фёдор подпрыгнул на стуле, захватил в сенях палку и выбежал на улицу. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошёл! Пошёл! Пошёл!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пёс не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав ещё издали страшным голосом, отец Фёдор бросился спасать своё будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трёх ногах.

Дома произошла большая семейная сцена, уснащённая многими тяжёлыми подробностями. Попадья плакала. Отец Фёдор сердито молчал, с омерзением поглядывая на осквернён-

ную собаку. Оставалась крохотная надежда, что потомство пойдёт всё-таки по баптистской линии.

Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого был большой чёрный пушистый хвост, лежащий на спине кренделем. Щенков раздали. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днём и вечером под окнами Востриковых медленно похаживал Марсик, уставясь в окна единственным нахальным глазом и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, уплаченные брату Сидоренко, второе поколение ещё больше напоминало Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Третья серия оказалась вылитыми марсиками и от визитов к баптистскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы.

Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск полковнику ЧарнолуССкому и даже составил прошение мировому судье. Но знающие люди объяснили ему, что взять с полковника можно только его воспоминания о Брусиловском прорыве, а их у него и так берут бесплатно, каждый вечер, в «Русском собрании». Так распался «конский завод» и мечты о верном, постоянном доходе. Брат Сидоренко при встрече вежливо приподнимал шляпу и спрашивал, как поживают щенки. Отец Фёдор считал это изощрённым баптистским издевательством.

3.

Порывистая душа отца Фёдора не знала покоя. Не знала она его никогда: ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища в Таре, Федей, сыном дьячка, ни когда был усатым семинаристом Фёдором Ивановичем в Томске. Перейдя из семинарии в Томский университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоился мобилизации и снова пошёл по духовной линии. Сперва был рукоположен в диаконы, потом посвящён в сан священника и назначен в Калачинск. И всегда, на всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Фёдор оставался стяжателем.

Он был сибиряк, и сибиряк коренной, в четвёртом колене. Этим он гордился больше, чем саном. Прадед его пришёл в Тарский уезд с Вятки ещё при Николае Первом, распахан целину и, как рассказывали в семье, ни разу в жизни не видел помещика. Отец Фёдор тоже не видел помещика до восемнадцатого года, а когда увидел беженцев из России, был глубоко разочарован: помещики оказались людьми бестолковыми, плохо одетыми и вечно просящими в долг.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе в Омске. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, он изобретал проекты, которые должны были доставить ему основной и оборотный капитал для покупки давно присмотренного заводика на Иртыше. В последние годы мечта эта омрачилась. Баптисты свечей не жгли. Каждый калачинец, перешедший к брату Сидоренко, означал для отца Фёдора не столько погибшую душу, сколько недоданный пуд воска. Он подсчитал однажды, что если баптисты будут расти такими темпами, то к 1940 году свечной завод в Омске придётся переносить на выпуск фисгармоний.

Идеи осеяли отца Фёдора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Однажды он начал варить мраморное стирочное мыло. Наварил его пуды, но, хотя мыло, по его уверению, заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже «трудпахаревского». Мыло долго мокло и разлагалось в сенах, так что Катерина Александровна, проходя мимо, всякий раз всплакивала. Потом его выбросили в выгребную яму.

Прочитав в том же американском журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыплёнка, что плодятся они во множестве и что в Калифорнии на кроликах составляются целые состояния, отец Фёдор немедленно обзавёлся полудюжиной производителей. Уже через пять месяцев Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда и вернулась только через неделю, со следами общения с Марсиком. Проклятые калачинцы оказались чрезвычайно консервативными и с редким для неорганизованной массы единодушием не покупали у Вострикова ни одного кролика. Председатель маслоартели объяснил это коротко: «Не сибирское это мясо, батюшка. Американское».

Тогда отец Фёдор, переговорив с попадьёй, решил украсить своё меню кроликами. Из кроликов готовили жаркое, битки, пожарские котлеты, кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в пироги. Это не привело ни к чему. Отец Фёдор подсчитал, что семья, перейдя исключительно на кроличий паёк, сможет съесть в месяц не больше сорока животных, тогда как ежемесячный приплод составлял девяносто штук и рос в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать вкусные домашние обеды. Отец Фёдор весь вечер при лампе писал химическим карандашом объявления: «Дёшево и вкусно. Домашние обеды на свежем сибирском масле». Попадья наполнила миску мучным клейстером, и поздним вечером отец Фёдор налепил объявления на всех телеграфных столбах и у дверей земских учреждений.

Затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе два конторщика из маслоартели, переписчик Сапежников и заведующий земским благоустройством

Козлов. Тщанием Козлова недавно была снесена единственная в городе старинная постройка — деревянная казачья сторожевая башня времён Елизаветы, которая, по его словам, мешала движению фордзона. Всем обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Фёдор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, когда произошёл совершенно непредвиденный случай.

Потребительское общество «Трудовой пахарь», три недели закрытое «на переучёт товаров и перевыборы правления», наконец открылось. Перевыборы прошли бурно: эсеры требовали ввести в правление женщину, областники — инородца, социал-демократы — пролетария-железнодорожника, и в конце концов выбрали прежнее правление. Обрадованные этим работники прилавка выкатили на задний двор, общий с двором отца Фёдора, бочку гнилой капусты, испортившейся за время перевыборов, и свалили её в выгребную яму. Привлечённые пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свиристествовал он три часа, но уложил всех двести сорок производителей и весь не поддающийся учёту приплод.

Отец Фёдор хотел подать жалобу в правление, но правление после перевыборов ушло в отпуск. Ошеломлённый, он притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, вернувшись из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне.

4.

В спальне, рядом с небольшим овальным зеркалом в поцарапанной чёрной раме, висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная от руки. Отец Фёдор купил её на омском толкучем рынке у эмигранта, который отдал её за полтинник, сказав, что она напоминает ему Россию, и тут же пропил полтинник. Особенно утешила отца Фёдора эта картинка после кроликов. Она ясно показывала бренность всего земного.

По верхнему её ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, смерть всем владеет». Смерть была с косой и песочными часами с крылышками. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид её ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отец Фёдор смотрел на картинку долго, и мысли его, давно уже текущие в одну сторону, наконец сложились в стройную систему.

Картинка, рассуждал отец Фёдор, была росейская и врала. Это в России Хам сеял пшеницу, а Яфет имел власть. В Сибири всё перепуталось. Здесь Хам и пшеницу сеял, и власть имел: сидел в думе, в земской управе, в правлении маслоартели и в ревизионной комиссии, да ещё и ругал правительство с трёхдневным опозданием. А Яфет сидел в «Русском собрании», пил казённую водку и писал мелом на спине у Потанина. И правильно, подумал отец Фёдор неожиданно для себя самого. Нечего было Яфету имение пропивать.

Потому что вот он, Яфет. Воробьянинов. Предводитель дворянства. Вывез из России бриллианты, сам того не зная, и пропил стулья, в которых они лежали, в один вечер, в «Аквариуме», с цыганами. Отец Фёдор знал это доподлинно, от самой Клавдии Ивановны. Дай теперь такому бриллианты — что он с ними сделает? Пропьёт ещё раз. Поедет в Харбин, в Шанхай, в Париж, и пропьёт там сибирское достояние, как его деды пропивали в Петербурге сибирское золото.

Нет. Бриллианты, рассуждал отец Фёдор, найдены в Сибири, лежат в Сибири и должны остаться в Сибири. И достаться они должны человеку основательному, хозяйственному, местному, который не пропьёт, а пустит в дело. Построит свечной завод. Даст работу людям. Будет платить земству налоги. Отец Фёдор даже процитировал про себя Потанина, которого еще в семинарии читал тайком, а теперь цитаты из него висели в каждом учреждении: «Естественное богатство Сибири есть достояние области». Бриллианты, конечно, были не вполне естественным богатством Сибири. Но они пролежали в Сибири девять лет, а это, по мнению отца Фёдора, давало им сибирское гражданство.

То, что основательный и хозяйственный сибиряк Востриков за последние три года сгноил пуды мыла, уморил двести сорок кроликов и вырастил три поколения марсиков, в эту стройную систему не входило. Но отец Фёдор этого не вспомнил. Он смотрел на картинку «Яфет власть имеет», где тучный богатый человек с бородой сидел в маленьком зальце на троне с полным сознанием своего богатства, и думал, что борода у этого человека подстрижена очень аккуратно.

Отец Фёдор улыбнулся и выглянул в щель.

5.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил он.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Фёдор схватил ножницы, снова заперся, подошёл к зеркалу и начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Фёдор убедился, что стричь бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала ещё немного, он обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздражённо сказал:

— Помоги хоть ты, матушка. Никак не могу со своими волосищами справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособо-чилось...

— Господи, — сказала матушка, посягая на локоны отца Фёдора, — неужели, Феденька, ты в баптисты податься собрался?

Такому направлению разговора отец Фёдор обрадовался.

— А почему, мать, не податься мне в баптисты? Баптисты что, не люди?

— Люди, конечно, люди, — согласилась матушка ядовито. — Как же. На фисгармонии играют, доллары из Америки получают, бороды бреют по-американски, а жён своих сёстрами зовут.

— Ну и я буду на фисгармонии.

— Играй, пожалуйста. Ты и на гармошке-то не умеешь.

— И научусь.

— Научишься! Тебя, Федя, брат Сидоренко за Марсика на порог не пустит. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно. Из зеркала на отца Фёдора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Это был уже не священник, но ещё и не баптист. Это было лицо человека, который едет в Омск по делу.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

6.

Дальнейшее поразило матушку ещё больше. Отец Фёдор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. Брат матушки служил старшим пекарем в пекарне потребительского общества и был человек солидный: в правлении не заседал, но имел пальто.

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Фёдор по комнате и, пугая жену изменившимся лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Фёдор ни с того ни с сего постригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а её бросает.

— Не бросаю, — твердил отец Фёдор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может, — говорила попадья. — У тебя уже были дела. Кролики были дело. Нерка была дело.

— Это другое дело! — закричал отец Фёдор. — Это сибирское дело! Это, если хочешь знать, дело справедливости!

Отцу Фёдору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого не делал, попадья всё же очень испугалась и, накинув оренбургский платок, побежала к брату за статской одеждой.

Оставшись один, отец Фёдор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело» — и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жостью.

7.

Такие сундучки встречаются по большей части у солдат и переселенцев. Оклеены они изнутри полосатыми обоями, поверх которых красуется какая-нибудь картинка. Сундучок Востриковых матушка оклеила вырезками из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача тёплых вещей нижним чинам на позициях», и сам молодецкий казак Козьма Крючков, первый георгиевский кавалер. А поверх всего, на крышке, была вклеена большая картинка из томского иллюстрированного журнала за 1919 год: «Открытие Сибирского Учредительного собрания». Матушка вырезала её не из политических соображений, а из-за дамских шляпок в первом ряду, которые показались ей очень красивыми. Между шляпками, маленький и строгий, виднелся президент Вологодский, а над ним бело-зелёный флаг.

Отец Фёдор выложил на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстенную «Историю раскола» и брошюрку «Сибирь как колония», которую он прятал от епархиального начальства. Потом запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, внезапно ударившего из сундучка, отец Фёдор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжёлую полотняную колбаску. В ней было двадцать царских золотых десятков — всё, что осталось от коммерческих авантюр отца Фёдора.

Он привычным движением приподнял полу серенькой рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошёл к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей новенькими сибирскими золотыми бумажками, на которых были изображены тайга, сноп пшеницы и маслобойка. В коробке оставалось ещё двадцать рублей.

— На неделю хватит, — решил он.

Отец Фёдор посмотрел в окно. Над площадью стояла луна. Вдали, у бюста Потанина, смутно белело свежее ругательство. На улице Свободной Сибири ветер стучал табличками. А в доме напротив, у Воробьяниновых, горели все лампы и слышался голос агрономши.

— В Омск, — сказал отец Фёдор зеркалу. — Раньше расейского.

И зеркало, в котором отражалась подстриженная под пресвитера борода, согласилось.



Глава IV. Муза дальних странствий

1.

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Фёдор, в коротеньком, чуть ниже колен, пальто и с плетёной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, вопреки его настоянию, прибежит провожать, и тогда палаточник Прусис сразу его узнает. Прусис сидел в буфете и угощал пивом земского акцизного надзирателя, грозу всех уездных самогонщиц, и оба уже два раза посмотрели в сторону кассы. Отец Фёдор с удивлением и стыдом поглядывал на свои обнажённые полосатые брюки. Пальто брата-пекаря было сшито на человека основательного, но короткого.

Вокзал в Калачинске был деревянный, построенный ещё при постройке магистрали, с резными наличниками и часами, которые отставали на семь минут. Часы много раз собирались починить, но починка требовала решения трёх ведомств — железнодорожного, земского и почтового, — и каждое ждало, пока решат другие. Поэтому калачинцы жили по своему времени, на семь минут отстававшему от томского, и этим втайне гордились.

У дверей в зал первого и второго класса, куда отец Фёдор по бедности не собирался, стоял молодой человек в остатках офицерского френча и в фуражке без кокарды. Это был один из корнетов «Русского собрания». Он играл на гитаре и с большим чувством пел:

— Была-а у нас Россия, вели-икая страна...

Фуражка, лежавшая у его ног, была пуста, если не считать двух медных копеек и пуговицы. Пассажиры первого класса, маслоделы и экспортёры, проходили мимо, вежливо обходя фуражку. Россия, о которой пел корнет, была им известна главным образом по челябинскому тарифному перелому.

Железнодорожный стражник, рослый чалдон с бело-зелёной нашивкой на рукаве, подошёл к певцу, подождал, пока тот кончит куплет, и только тогда взял его под локоть.

— Ваше благородие, — сказал он почти ласково, — тут петь не положено. Тут зал ожидания. Идите в буфет, там вас Прусис пивом угостит, он нынче добрый.

Корнет, не прекращая петь, дал себя увести. Отец Фёдор проводил его взглядом, полным христианского сочувствия и сибирского превосходства.

Кассир, суровый гражданин в нарукавниках, долго возился с компостером, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, дал отцу Фёдору сдачу монетами, а не облигациями Кузнецкого займа индустриализации. Облигации эти печатались в Томске миллионами и навязывались сдачей во всех кассах республики, так что каждый сибиряк, покупавший билет или пачку папирос, становился, хотел он того или нет, кредитором будущего металлургического комбината. Очередь зашумела. Кто-то сказал, что кассир, видно, проворовался. Кто-то — что займ отменили. Отец Фёдор взял монеты, перекрестился в рукав и отошёл.

2.

Посадка в поезд носила обычный демократический характер.

Сибирский пассажир был человек сознательный и в одиночку в вагон не садился. Как только поезд останавливался, пассажиры каждого вагона сходились у подножки и выбирали старосту. Староста распределял места у окна, на нижних полках и у печки, и распределение это, как всякое распределение, вызывало прения. Пока шли прения, поезд стоял. Иногда прения затягивались, поезд уходил, и пассажиры, не сумевшие договориться, оставались на платформе ждать следующего, чтобы начать прения заново. На этот случай в расписании Сибирской железной дороги было предусмотрено, что почтовый поезд стоит в Калачинске не пять минут, как положено, а двадцать пять.

Пассажиры, согнувшись под тяжестью поклажи, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Несли они не мешки с хлебом, как в голодной России, о которой рассказывали беженцы, а бидоны с маслом, ящики с американскими граммофонами, плетёные короба с омулем, швейные машины «Зингер» и связки кроличьих шкурок. Отец Фёдор посмотрел на шкурки с болью. Шкурки были чужие и, по всей видимости, приносили кому-то доход.

Отец Фёдор ошеломлённо бегал вместе со всеми. Так же, как и все, он говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему не тот билет, и так же, как и все, голосовал за старосту, не понимая, за кого голосует. Старостой выбрали человека с бидоном, потому что бидон внушал доверие. Староста посмотрел на отца Фёдора, на его короткое пальто и утиный картуз и отвёл ему верхнюю полку у двери. Только когда его втиснули туда и корзинку засунули под голову, отец Фёдор пришёл в себя и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя отца Фёдора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

3.

Интересная штука — полоса отчуждения.

В Сибири это слово знает каждый, и знает в двух смыслах. В малом смысле полоса отчуждения — это вокзал, перрон, станционный буфет, водочка и всё, что лежит на казённой земле вдоль рельсов. В большом смысле это целая страна. Далеко на востоке, в Маньчжурии, вдоль Китайско-Восточной железной дороги, уже тридцать лет тянется полоса отчуждения, где живут русские, ходят русские поезда и стоит русский город Харбин. Сибиряки ездят туда за чаем, за шёлком, за американскими журналами и за невестами и говорят: «Поехал в Полосу», — как говорят: «Поехал в Томск».

Самый обыкновенный гражданин, попав в полосу отчуждения, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад.

С той минуты, как гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом, жизнь его резко меняется. К нему сейчас же подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. В Сибири это сравнение не метафора. Ермак Тимофеевич здесь у себя дома, на завоёванной территории, и носильщики, мнится, сознают это: несут чемоданы так, будто берут Искер.

С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыплёнка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и омуля, от которого пахнет потом весь вагон. Сибирский пассажир, кроме того, ест масло — прямо из бидона, деревянной ложкой, с хлебом и без хлеба. Масло своё, артельное, и есть его в дороге считается не обжорством, а патриотизмом. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишённые ножек, с корнем вырванных пассажирами.

4.

Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

— Встретились, значит, эсер, областник и социал-демократ. Сели и договорились.

— Ну и что?

— Ничего. Это и есть анекдот.

Чайники бряцают, цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтями соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!», с трудом завладевает вниманием:

— Как отличить эсера от областника?

— Как?

— Надо спросить социал-демократа.

— А он что скажет?

— Скажет, что оба меньшевики!

Вагон стонет. Человек с бидоном, староста, вытирает слёзы.

— А вот ещё, — кричит третий. — Приехал в Калачинск американец. Ходит, смотрит. Подходит к чалдону: «Скажите, сколько у вас тут партий?» Чалдон говорит: «Три». — «А какая правящая?» Чалдон подумал и говорит: «А это смотря какой день недели».

Тут, как всегда бывает в вагоне, анекдоты незаметно перешли в политику, а политика — в главный вопрос, который в 1927 году занимал всех сибирских пассажиров от Челябинска до Владивостока: в какой партии состоит президент Вологодский?

— Эсер, — уверенно сказал человек с бидоном. — Я сам видел, как он открывал эсеровский съезд в Новониколаевске. Вынул билет и показал. Красенький.

— Какой эсер! — закричал маленький человек в американских очках. — Областник! Ему на областническом съезде в Томске значок прикалывали, бело-зелёный. Он ещё сказал: «Носил и носить буду».

— А у моего свояка, — вмешалась женщина с омулем, — знакомый служит при президентской канцелярии. Так он говорит, у президента в бумажнике социал-демократический билет. Сам видел, когда тот за папиросы расплачивался.

— Во всех трех состоит, — мрачно сказал с нижней полки пожилой маслодел. — Он и эсер, и областник, и эсдек. Смотри кого сегодня мирит.

Вагон заспорил. Стали вспоминать речи президента. Речи были известны всем, потому что газеты всех трёх партий печатали их целиком, каждая со своим комментарием.

— «Процветание Сибири», — цитировал человек в очках. — Это областническое.

— «Трудовая основа нашей жизни», — возражал человек с бидоном. — Это эсеровское.

— «Единство сибирского народа», — вставлял кто-то. — Это эсдеки любят.

— А «процветание трудового единства Сибири»? Это чьё?

Этого не знал никто. Речи президента Вологодского были устроены так искусно, что партийность по ним решительно не вычислялась. Знающие люди говорили, что он пишет их сам, по ночам, вычёркивая каждое слово, которое могло бы понравиться одной партии больше, чем двум другим. Оставались процветание, единство и трудовая основа, и все три партии аплодировали стоя.

— А может, он вовсе отдельная партия? — предложил маслодел. — Четвёртая. Партия президента.

— Давайте проголосуем, — сказал староста, который за дорогу вошёл во вкус власти.

Проголосовали. Четыре голоса было за то, что президент эсер, четыре — что областник, четыре — что социал-демократ, и четыре — что отдельная партия. Отец Фёдор, разбуженный голосованием, проголосовал спросонья за все четыре варианта сразу, и его голос признали недействительным. Решения не было. Вагон, как и дума, разошёлся по полкам при своих мнениях, вполне довольный собой.

Тёмная ночь закрывала поля, из паровозной трубы вылетали вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зелёных очках щепетильно проносились мимо, глядя поверх поезда.

5.

Интересная штука полоса отчуждения! Во все концы Сибири бегут длинные тяжёлые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зелёный огонь — путь свободен. «Сибирский экспресс», согнувшись на челябинской стрелке у самой границы, выскакивает на магистраль, прокладывая путь до Тихого океана. «Харбинский курьер», огибая Байкал, полным ходом спешит в Полосу. А на далёком Енисее, где поездов нет, уже готовится к навигации пароход Карской экспедиции, который повезёт сибирский хлеб северным морем прямо в Лондон, мимо Москвы и мимо всех тарифов.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Фёдора из тихой уездной обители и бросила в Омск. Уже и делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своём и задумал чёрт знает что такое.

Носит людей по Сибири. Один за десять тысяч вёрст от места службы находит себе сияющую невесту в Харбине. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан, где золото, говорят, лежит прямо в ручьях и где земство ещё не успело его обложить. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пятак у калачинского эмигранта.

6.

На второй день после похорон, распорядителем которых любезно стал гробовой мастер Безенчук (глазет, кисти, в кредит, процессия от улицы Свободной Сибири до кладбища, три «нимфы», шедшие сзади и не отстававшие ни на шаг), Ипполит Матвеевич отправился на службу.

Он сел на войлочную подушечку и, исполняя возложенные на него обязанности, собственноручно зарегистрировал кончину: «Петухова Клавдия Ивановна, 59 лет, домашняя хозяйка, беженка из Европейской России, из дворян, беспартийная, жительство имевшая в Калачинске».

Над словом «беспартийная» Ипполит Матвеевич задержал перо. В Сибири это слово было почти титулом. Беспартийным здесь мог быть только человек исключительной твёрдости характера. Три партии боролись за каждую душу с таким ожесточением, что сохранить невинность было труднее, чем в любом другом отношении. Эсеры звали в кооперацию, областники — в земство, социал-демократы — в профсоюз, и всякий, кто вступал в кооператив, земство или профсоюз, тут же оказывался чьим-нибудь. Клавдия Ивановна устояла. Ей помогли скупость, глупость и привычка отвечать на всякое предложение одним словом: «Дорого». Ипполит Матвеевич вспомнил это и впервые за два дня подумал о теще почти с уважением.

Затем он испросил себе двухнедельный отпуск, положенный по земским правилам, получил двадцать восемь рублей отпускных сибирскими золотыми и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой.

— Дядя Сэм в отпуск! — кричали ему вслед барышни. — Привезите из Омска чего-нибудь американского!

Ипполит Матвеевич не понял, чего именно американского ему надо привезти, но на всякий случай кивнул. По дороге он завернул в аптеку.

7.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья звали Липой, стоял за красным лакированным прилавком аптеки № 1 потребительского общества, окружённый молочного цвета банками с ядом, и со свойственной ему нервностью продавал золовке брандмейстера Насосова крем «для исключительной белизны кожи». Золовка, однако, требовала пудру «для ровного золотистого загара», как у американских киноактрис, которых она видела в харбинском журнале.

— У них там на всех загар, — говорила она, тыча пальцем в журнал. — Это у них модно. Белая кожа теперь только у эмигрантов.

— Загар, мадам, это от солнца, — нервно отвечал Липа. — Солнце у нас, слава богу, бесплатное. А крем — вот он.

Борьба этих противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил всё-таки Липа, продавший золовке брандмейстера губную помаду, флакон одеколона «Сибирская сирень» и клоповар — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий вид лейки.

Пока шла борьба, у прилавка собрались ещё двое покупателей: Сапежников, зашедший за содовыми порошками, что после охотничьих рассказов было неудивительно, и председатель «Нимфы», который, как оказалось, следил за Ипполитом Матвеевичем от самого загаса, но не решался заговорить. Разговор, как всегда в калачинской аптеке, перешёл на международное положение.

— Как вам нравится Шанхай? — спросил Липа, заворачивая клоповар в газету. — Чан Кайши, говорят, коммунистов режет. Прямо на улицах.

— Это который Чан Кайши? — спросил Сапежников.

— Китайский генерал, — объяснил Липа. — Гоминьдан.

— А, — сказал Сапежников. — Это который в Харбине чайную держит, на Пристани? У него ещё вывеска с драконом.

— То Чан Вэньли, — поправил председатель «Нимфы». — Чаеоторговец. А Чан Кайши — это из кинематографа. Он в «Тайне жёлтого дракона» играл, злодея.

Липа махнул на них рукой и развернул томские газеты, которые лежали у него на прилавке, все три.

— Вот, — сказал он с удовлетворением человека, долго ждавшего этой минуты. — Наконец-то выяснилась разница между партиями. Девять лет не было разницы, а тут нашлась. Эсеровская «Народная Сибирь»: «Привет китайскому народничеству! Генерал Чан Кайши ведёт китайское крестьянство по пути трудового социализма и народоправия, и Сибирь протягивает ему руку». Социал-демократическая «Рабочая газета»: «События в Шанхае требуют глубокого марксистского анализа. С одной стороны, Гоминьдан выражает интересы национальной буржуазии. С другой стороны, китайский пролетариат... С третьей стороны, нельзя не отметить...» — и так на два подвала. Ни слова, кому сочувствуют. А областническая «Сибирская жизнь» — одна строчка: «Что нам до китайцев? У Сибири свои дела». И всё. И передовица про маслоартели.

— Это правильно, — сказал председатель «Нимфы». — У нас свои дела.

Ипполит Матвеевич, которому китайские дела были глубоко безразличны, услышал только одно слово.

— Шанхай — прекрасный город, — мечтательно сказал он. — Говорят, там можно жить, как в Париже.

— Сейчас там можно умереть, как в Шанхае, — ответил Липа.

— Сибиряки, — неожиданно для себя сказал Ипполит Матвеевич, — и Россию продали, и Китай продадут. Им бы только масло.

Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря: «Кто Россию не продавал», — и приступил к делу.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

8.

— Для ращения, уничтожения, окраски?

— Какое там ращение, — сказал Ипполит Матвеевич. — Для окраски.

Липа оглянулся на дверь, понизил голос и вынул из-под прилавка квадратный флакон.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с челябинской таможни. Контрабандный товар. Советский. Московского химтреста. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный чёрный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

— Советский? — Ипполит Матвеевич брезгливо повертел флакон в руках. На этикетке была изображена женщина с волосами цвета антрацита и надпись: «Титаник. Химтрест ВСНХ СССР. Прочность гарантирована». — Неужели нет американского?

— Американское всё в Томске раскупают, — сказал Липа. — А советское к нам идёт, потому что у них там его никто не берёт. Они сами своё не покупают, всё за границей ищут. А у нас граница — Челябинск. Вот и выходит, что советский товар у нас самый заграничный.

Ипполит Матвеевич со вздохом выложил деньги.

Он вернулся домой и с омерзением стал поливать голову и усы большевистской жидкостью. По квартире распространилось зловоние. Председатель «Нимфы», пришедший было следом под предлогом соболезнования, постоял в сенях, понюхал и ушёл, ничего не сказав.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный чёрный цвет оказался с явным зеленоватым отливом, как у бутылочного стекла.

— Ничего не могут сделать, — с горечью сказал Ипполит Матвеевич зеркалу. — Ничего! Государство сделать не могут, мануфактуру не могут, хлеба не могут, даже краску для волос — и ту не могут. Девять лет они там сидят, и всё у них с зеленоватым отливом!

Зеркало не возражало. В нём отражался высокий худой человек с чёрно-зелёными усами, похожий не столько на предводителя дворянства, сколько на приказчика из бакалейной лавки, решившего жениться.

Вторично красить было уже некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тётчиной шкатулки найденный накануне список драгоценностей Клавдии Ивановны. Список был составлен её рукой, по-французски, с ценами в довоенных рублях: «Диадема — 5000. Колье — 10 000. Серьги — 3000...» Внизу стояла общая сумма, сто тысяч, и подчёркнута дважды. Ипполит Матвеевич перечёл список три раза и всякий раз пересчитывал сумму в доллары. Выходило по-прежнему пятьдесят тысяч.

Потом он пересчитал наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключ в задний карман брюк, сел в «Сибирский скорый» и уехал в Омск.

Отец Фёдор был там уже два дня.



Глава V. Бойкий мальчик

1.

На масленицу 1913 года в губернском городе Барановске произошло событие, возмущившее передовые слои местного общества.

В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах, шла грандиозная программа. Афиши, расклеенные по всему Барановску, обещали: «Всемирно известная труппа жонглёров „10 арабов“! Величайший феномен XX века Стэнс — загадочно, непостижимо, чудовищно! Стэнс — человек-загадка! Поразительные испанские акробаты Инас! Брезина — дива из парижского театра Фоли-Бержер! Сёстры Драфир и другие номера».

Арабов оказалось семеро, и двое из них были из Казани. Человек-загадка Стэнс угадывал мысли публики, но угадывал их почему-то всегда одинаково: всем выходило, что они думают о деньгах. Барановская публика находила, что это очень похоже на правду, и аплодировала.

Сёстры Драфир, их было трое, метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский парк, и с сильным волжским акцентом пели:

— Мы с Парижу к вам приехали, Мы порхаем, как мотыльки, Нам купцы бросают денежки, А мужья — свои платки!

Исполнив куплет, сёстры вздрогнули, взяли за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля что есть силы грянули припев, в котором слово «шарман» рифмовалось со словом «карман».

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги барановского общества. Круги эти были представлены в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, архитектором управы, бритым старичком, городовым врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сёстрами и без них. Они проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зелёная лента) по 2 рубля с персоны».

Но главной фигурой вечера был не гласный и не архитектор. За лучшим столиком, у самой сцены, сидел приезжий человек огромного роста, с бородой лопатой, в сюртуке из английского сукна, который был ему тесен в плечах, и с бриллиантовым перстнем на мизинце. Это был сибирский маслоторговец Ангелов, купец первой гильдии из Омска. В Барановск он приехал закупать сепараторы для своих маслоделен, сепараторы закупил ещё во вторник и теперь третий день проживал разницу между их ценой и тем, что за них заплатят сибирские мужики. С ним сидели две двоюродные сестры в палевых одеждах, которых он нашёл в Барановске, по его собственному выражению, «вместе с сепараторами».

Барановское общество смотрело на Ангелова со смешанным чувством. С одной стороны, он был сибиряк, то есть ел рыбу ножом и вытирал усы скатертью. С другой стороны, он заказывал шампанское не бутылками, а ящиками, и платил за всех. Купечество Барановска такого себе не позволяло давно. Здесь торговали лесом и пенькой, и торговали плохо. А сибиряк торговал маслом, и масло это, как он объяснял каждому, кто готов был слушать, давало золота вдвое больше, чем все сибирские прииски вместе взятые.

— Вдвое, — гремел Ангелов, — так сам Столыпин сказал, а Столыпин не врёт!

Столыпина к тому времени уже полтора года не было в живых, но Ангелов этого, по-видимому, не знал или не придавал значения.

На столиках, в особенных стопочках из «белого металла бр. Фраже», торчали привлекательные голубые меню. Содержание их, наводившее на Ангелова тяжёлую пьяную скуку, было

обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелых лет двоюродной сестрой. Молодой человек ещё раз перечёл меню: «Судачки Попьет. Жаркое цыплёнок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна д'Арк. Шампанское Мумм. Дамам — живые цветы», — сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны.

А уже через полчаса плачущего молодого человека, в котором Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Пётр, с негодованием бормотавший:

— А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены. Им цена особая.

Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с чёрными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево и иронически подёргивая плечами.

— Двоечник! — радостно кричал вслед опозоренному гимназисту Ангелов. — Второгодник! Папе скажу! У меня у самого сын в Омске такой же. Будет тебе бенефис!

2.

Скука, навеянная выступлением сестёр Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала и даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивая и одновременно сбивая носком божественной ножки проволоочное пенсне без стёкол с носа партнёра — бесцветного усатого господина.

Ангелов и городской архитектор были вне себя.

— Отдай всё — и мало! — кричал Ангелов страшным голосом и бил кулаком по столу так, что подпрыгивали стопочки бр. Фраже.

— Бис! Бис! Бис! — надсаживался архитектор.

Гласный Чарушников, пронзённый в самое сердце феей из Фоли-Бержер, поднялся из-за столика и, примерившись, тяжело дыша, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Фея ещё больше заулыбалась. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Ангелов потребовал ящик и велел поставить его на сцену, к ногам дивы. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш.

В момент наивысшей радости у входа раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор, первым обернувшийся ко входу, сначала закашлялся, а потом зааплодировал.

В зал вошёл известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шёл околоточный надзиратель в шинели и белых перчатках, держа под мышкой разноцветные бебехи, составившие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

— Не губите, ваше высокоблагородие! — дрожащим голосом говорил околоточный. — По долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих невинными глазами. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! — дико умилился он и, опрокинув стул, пошёл через зал, раскрыв руки, как медведь, вышедший на рогатину. — Ипполит Матвеевич! Орёл! Дай я тебя поцелую! У нас в Омске такого не увидишь! Оркестр — туш!!!

— По долгу службы, — неожиданно твёрдо вымолвил околоточный, — не позволяют правила!

— Што-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором, уклоняясь от сибирских объятий. — Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка Садовой части Юкин.

— Господин Юкин, — язвительно сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоедали. А теперь по долгу службы составьте протокол.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший Ангелов.

3.

Метрдотеля и хозяина Ангелов выставил за дверь в первые же пять минут, сунув каждому по сторублёвой бумажке. Голым дамам он велел принести шампанского и шалей, чтобы не простудились. А сам сел напротив Ипполита Матвеевича, положил на стол огромные кулаки с бриллиантом на мизинце и заговорил о Сибири.

Говорил он о ней так, как говорят о любимой женщине, которую не стыдно показать людям. Масло, говорил Ангелов, масло — это золото, только мягкое. В Tobольской губернии каждая деревня держит маслодельню, мужик сдаёт молоко, получает деньги, а масло едет в Лондон, и там его едят англичане, думая, что оно датское. Земли — бери сколько хочешь, хоть сто десятин, хоть тысячу. Прииски — вот они, на Енисее, на Лене, на Алтае. Англичане уже пришли, «Лена Голдфилдс», а русские спят. Дома в Омске стоят за бесценок, потому что Омск растёт, но растёт так быстро, что цены за ним не поспевают.

— У нас, Ипполит Матвеевич, золото под ногами лежит! — гремел Ангелов. — Нагнись и подыми! А вы здесь сидите, пеньку свою считаете. Приезжайте! Я вам дом найду. Концессию найду. Губернатор у нас свой человек, мы его маслом кормим. Человек с вашим именем, с вашими манерами — да вы в Сибири первым лицом будете! У нас дворян нет, вы там один будете на всю губернию!

Ипполит Матвеевич слушал с брезгливостью, которую старался скрыть, потому что Ангелов наливал шампанское.

Сибирь он представлял себе смутно, но твёрдо. Сибирь — это там, где каторга. Где ссылки, кандалы, снег, тайга, медведи и Достоевский. Где нет ни театра, ни приличного общества, ни дворянского собрания, а есть только бесконечная зима и в ней мужики. Сибирских мужиков Ипполит Матвеевич представлял себе примерно как медведей в тайге, только двуногих, в армяках и с бородами, как у этого Ангелова. Медведей, которые зачем-то научились делать масло и теперь продают его англичанам.

«Дикий край, — думал Ипполит Матвеевич, глядя, как сибиряк вытирает усы скатертью. — Без цивилизации. Один в один этот Ангелов. Вот так они там все и живут».

Но слово «золото» действовало на него сильнее презрения. Двадцать тысяч годового дохода, оставленные покойным отцом, уже в те годы таяли быстрее, чем Ипполиту Матвеевичу хотелось бы. Имение было заложено, лес продан, а голуби, которых он из сыновней почтительности не решался продать, ели больше, чем стоили.

— Что ж, — сказал он наконец, растягивая слова, как привык ещё в пятом классе гимназии. — Может быть, как-нибудь съезжу. Посмотрю ваши... прииски.

— Орёл! — заревел Ангелов и всё-таки поцеловал его, в ухо, потому что Ипполит Матвеевич успел отвернуться.

Пройдёт пятнадцать лет. Двуногие сибирские медведи будут выдавать Ипполиту Матвеевичу беженское пособие в одной очереди с полтавскими переселенцами. Будут звать его за глаза «рассейским» и смотреть на него на базаре с тем самым любопытством, с каким он смотрел сейчас на Ангелова. А Ангелов, кстати, к тому времени будет заседать в правлении Закупсбыта, ездить в Лондон на переговоры и, проходя мимо Ипполита Матвеевича по Любинскому проспекту, его не узнает.

Но в масленицу 1913 года никто этого знать не мог. Голые дамы кутались в шали и пили шампанское. Ангелов заказал ещё ящик. Человек-загадка Стэнс за стеной угадывал мысли публики, и всем по-прежнему выходило, что они думают о деньгах.

4.

Событие это, взволновавшее передовые круги барановского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцатью пятью рублями штрафа и статейкой в местной либеральной газете «Общественная мысль» под осторожным заглавием «Приключения предводителя».

Статька была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:

— Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица...»

Далее говорилось о «нравах некоторых представителей благородного сословия», о «приезжих толстосумах из отдалённых окраин, развращающих местное общество золотом сомнительного происхождения», что было камнем в огород Ангелова, и о «бессилии полиции перед сильными мира сего». Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» — и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.

В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и с устрашающей любезностью попросил господина Принца Датского прибыть в канцелярию к четырём часам дня для объяснений.

Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона о подозрительной затяжке переговоров по сдаче городского театра под спектакли московской оперетты. В назначенное время венценосный журналист сидел в приёмной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы знаменитого профессора, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.

Градоначальник говорил, презрительно растягивая слова и с особенным удовольствием всматриваясь в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший к этому времени одолеть «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку от усилия, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-то-те-т-так я же в-в-в-ообще з-заикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о дальнейших похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Сам Принц Датский прожил в Барановске ещё пять лет, а в восемнадцатом году исчез. Говорили, что он подался куда-то на восток, где, по слухам, газеты можно было закрыть только решением суда, а градоначальников не было вовсе.

5.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Барановском уезде, в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Покуда сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным помётом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитали в отдельной благоустроенной голубятне, лучше которой не было ни одного жилья в окрестных деревнях.

На девятом году жизни мальчика Ипполита определили в приготовительный класс Барановской дворянской гимназии. Там он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей — пенала, скрипящего и пахучего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, — есть ещё единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.

О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже на вступительном экзамене по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за столом вместе с прочими экзаменаторами, завздыхал и сообщил: «Это Матвея Александровича сын, очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал три, и бойкий мальчик был принят.

В Барановске были две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской питали традиционную вражду к питомцам городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем, за что, в свою очередь, получили позорное прозвище «баклажан». Не один «карандаш» принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки кровожадных «баклажан». Озлобленные «карандаши» устраивали на «баклажан»-одинок облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. «Баклажан»-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго ещё сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный и потерявший одну калошу. Взятая в плен калоша забрасывалась победителями на крышу по возможности высокого дома.

Были ещё в Барановске кадеты, которых гимназисты называли «сапогами». Но жили они в двух верстах от города, в своём корпусе, и вели жизнь загадочную и даже легендарную. Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам с наляпанным по трафарету жёлтым вензелем, их бляхам с накладными орлами. Но, лишённый по воле отца возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и пускался на самые неслыханные предприятия.

6.

В третьем классе Ипполит остался на второй год.

Как-то перед самыми экзаменами, во время большой перемены, три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зелёным сукном, тяжёлые малиновые портьеры с бамбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, сын небогатого землемера, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом. Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил силач Савицкий.

— А ну, подыми!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подымешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.

Савицкий, с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами, продолжал копошиться у фикуса. Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиной налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра Первого, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, как самоубийца в реку, кинулся головой вниз.

Падение императора, хотя и заглушённое лежавшим на полу кавказским ковром, имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий, как рафинад, кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что ж теперь будет, Воробьянинов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил, — быстро ответил Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошёл в уборную и утопил нос в дыре.

Во время урока греческого в третий класс вошёл директор Сизик. Сизик сделал знак греку оставаться на месте и произнёс ту же самую речь, которую только что по очереди произносил в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода, — заявил он, — кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожор! — рывкнул директор, обрызгивая слюной «зубрил», сидевших на передних партах.

«Зубрилы» преданно смотрели в глаза Сизику. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор. — Имейте в виду, гошпода, што ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вещь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил то же самое во всех классах, и поэтому его слова вызвали ужас. Конец урока прошёл в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врёт, — грустно говорил Савицкий, — пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали «зубрилы», преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — зывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведённые до отчаяния «зубрилы» рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния. «Зубрила» Мурзик прочёл молитву после учения, икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошёл искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключён из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряжённых неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал самым зверским образом в присутствии массы любопытных из старших классов. Рёв маленького Пыхтеева-Какуева был слышен даже за городской чертой.

Савицкого же отец, землемер, не стал драть. Он посмотрел на сына долгим взглядом, вздохнул и отправил его к своему брату в Томск, где были, как он выразился, «гимназии попроще и директора с зубами». В Барановске говорили, что мальчика сослали в Сибирь без приговора, и некоторое время пугали этим других гимназистов. Ипполит Матвеевич больше никогда о Савицком не слышал и вскоре забыл даже его лицо.

А Савицкий не забыл ничего.

7.

Ипполит продолжал учиться. Гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи.

В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в пёрышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников «на выдержку». Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился. В пятом классе он уже говорил, слегка растягивая слова, что не помешало ему снова сесть на второй год. В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах, где Ипполит, показывая белую шёлковую подкладку мундира, вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чёртова лестница» (объём пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логiku», «Христианские нравoучения» и лёгкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест уже дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы перевалило за середину. Матвей Александрович умер, так его и не закончив. Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай и совершенно иссохшего, ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал блестяще организованным кутежом с пьяной стрельбой по голубям и облавой на деревенских девок. Голубей, правда, в тот раз не убили ни одного: стреляли все мимо, кроме Фредерика, которого никто не трогал, потому что он был слишком стар и только смотрел на стрельбу с крыши, как отставной генерал на маневры молодёжи. Девки визжали и особенно не сопротивлялись.

Образование своё Ипполит Матвеевич считал законченным. Он не пошёл ни в университет, ни на государственную службу. От военной его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Позже, когда умер старый уездный предводитель, дворяне Барановского уезда выбрали предводителем его — не за заслуги, которых не было, а за то, что у него был лучший в уезде повар и самый большой в губернии погреб.

Он переустроил родительский особняк в Барановске на свой лад, завёл камердинера с баками, трёх лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги. Шедевром повара было филе из налима «Вам-Блям». Что значило это название, не знал никто, включая повара, но филе было превосходное, и губернатор, отведав его однажды, сказал, что такого не едят даже в Петербурге.

Так шла жизнь. Сибирь была далеко, за тысячи вёрст, за Уралом, где-то между каторгой и медведями. Ипполит Матвеевич думал о ней не чаще, чем о Луне. И когда через полгода после масленицы из Омска пришло письмо от Ангелова с фотографией продающегося дома на Любинском проспекте, с колоннами и мезонином, Ипполит Матвеевич купил его, не глядя, по телеграфу — просто потому, что дом был дешёв, колонны красивые, а в Сибири, как писал Ангелов, «золото под ногами».

Он и представить себе не мог, что именно в этот дом, через пять лет, ему придётся бежать.



Глава VI. Продолжение предыдущей

1.

Благотворительные базары в Барановске отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперебой проявляли дамы избранного барановского общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки с двойными подбородками и в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским «Аи» по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.

В тот год дамы превзошли себя. Рядом с кавказским аулом вырос павильон «Сибирская каторга». Устроила его супруга вице-губернатора, прочитавшая зимой «Записки из Мёртвого дома» и находившая их очень трогательными. Павильон был обтянут серой мешковиной, изображавшей острожный частокол. Над входом висела надпись славянской вязью: «Добро пожаловать в Нерчинск». Внутри барановские дамы в собольих шапках и в кандалах из позолоченного картона продавали пельмени, кедровые орехи и всё то же шампанское «Аи», которое здесь называлось «сибирской водой». Время от времени одна из дам звенела картонными кандалами, и публика аплодировала. Говорили, что это очень похоже на настоящее.

Ипполит Матвеевич, обойдя павильон, остановился у входа и громко, так, чтобы слышали дамы, произнёс:

— В Сибири, господа, всего два времени года: зима и ссылка.

Дамы засмеялись. Вице-губернаторша сказала, что он злой. Шутка понравилась Ипполиту Матвеевичу самому, и он повторял её потом лет двадцать, пока уже в самой Сибири не выяснилось, что там бывает ещё и весна, и лето, и, что хуже всего, ежегодные переборы правлений.

Но настоящая его судьба ждала не в «Нерчинске», а по соседству, под вывеской: «Настоящи кавказски духан. Нормальни кавказски удовольсти». Здесь он познакомился с женой нового окружного прокурора, Еленой Станиславовной Боур.

Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, грешившего стишками, была «сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная».

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна имела на голове чёрную бархатную тарелочку с шёлковой розеткой цветов французского флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шампански! — галантно сказал Ипполит Матвеевич.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин. Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на её голые парафиновые руки, неумело открывавшие бутылку. Он выпил свой бокал, как воду, не почувствовав вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошёл. Прокурорша улыбнулась ещё нежнее, потянула кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже обычного. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору.

Прокурор был похож на обезьяну, которую непонятно зачем научили разговаривать. Прохаживаясь с Ипполитом Матвеевичем между павильоном «Нерчинск» и сидевшим на кресле

чучелом орла с кружкой для пожертвований в клюве, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости. О Сибири он говорил с профессиональным знанием дела. По его словам, это было единственное место в империи, куда можно было отправить человека и быть уверенным, что он больше никогда не помешает.

2.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях и провёл полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей. А уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться». Следователь с усмешкой ответил: «Це дѣло треба розжуваты» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.

Во всём городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почёсывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным: он ждал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нём с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой чёрными птичками: её узнали все. Город в страхе содрогнулся, но любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками само министерство юстиции. Товарищ министра был поражён трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды. В одной чаше её весов он ясно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Кончилось всё совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увёз прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань.

В Сызрани прокурор прожил долго, отправил в Сибирь человек восемьсот и в конце концов умер. Об этих восьмистах стоит сказать особо. Среди них были эсеры, социал-демократы, анархисты, студенты, бунтовавшие крестьяне и один учитель, обвинённый в чтении Кропоткина вслух. Через двадцать лет многие из них станут в Сибири гласными земств, членами правлений кооперативов, редакторами газет, а несколько человек — министрами Сибирского правительства. Прокурор Боур, сам того не подозревая, был одним из отцов сибирской демократии. Узнай он об этом, он, вероятно, почесал бы за ухом.

3.

Ипполит Матвеевич со своей подругой приехал в Париж весной 1900 года. Париж открывал Всемирную выставку. Над городом стояла башня Эйфеля, похожая на сумасшедшую табуретку. Она была построена десять лет назад, но всё ещё вызывала ужас идеалистов, постников и трезвенников богоспасаемого города Парижа.

Елена Станиславовна, напичканная сведениями, полученными в поезде от соседа по купе, молодого французского инженера, потащила Ипполита Матвеевича на выставку в первый же день. И не к башне, не к движущемуся тротуару и не к электрическому дворцу, а в русский павильон, к главной диковинке выставки.

Это был павильон Транссибирской магистрали. Публику усаживали в настоящий вагон-ресторан международного общества — с бархатными креслами, зеркалами и лакеями во фраках. Подавали стерлядь и икру. А за окнами вагона медленно ползла бесконечная живописная панорама: Москва, Волга, Урал, Омск, Иркутск, тайга, Байкал, сопки, пагоды и, наконец, Пекин. Сорок минут — и вы проехали Сибирь, не пролив ни капли шампанского. Французы были в восторге. Они впервые узнали, что Сибирь существует, и признали, что выглядит она прилично.

Елена Станиславовна тоже была в восторге.

— Это же грандиозно! — восклицала она, повторяя слова инженера. — Девять тысяч вёрст! Через всю Азию! Это смелое дерзание, Ипполит, как башня господина Эйфеля!

Ипполит Матвеевич посмотрел в окно, где мимо него проползал нарисованный Омск, ничем не примечательный, с колокольной и пожарной каланчой, и сказал:

— Девять тысяч вёрст рельсов, и всё для того, чтобы довести масло до англичан, а арестанта до Нерчинска. Причём арестант доезжает быстрее: его не задерживают на таможне.

Лакей, подававший стерлядь, оказался русским и хихикнул. Елена Станиславовна оскорбилась за Сибирь, за господина Эйфеля и за молодого инженера. Между двумя русскими возник тяжкий спор, кончившийся тем, что Ипполит Матвеевич в сердцах купил молодого русского сенбернара. Сенбернар доводил Елену Станиславовну до притворной истерики и прогрызал её новую ротонду, обшитую чёрным стеклярусом.

В пахнущем москательной лавкой Париже молодые люди веселились. Шатались по кабачкам, ели пьяные вишни, бывали на спектаклях «Французской комедии», пили чай из самовара, специально выписанного Ипполитом Матвеевичем из России, за что и получили от отельной прислуги кличку «молодожёнов с машиной». Неудачно съездили на рулетку. Но не говорили уже ни о бедственном положении приютских детей, ни о дерзаниях господина Эйфеля: страсть незаметно пропала, и осталась привычка к бездельной весёлой жизни вдвоём.

Елена Станиславовна сходила однажды к известной гадалке мадам де Сюри и вернулась необыкновенно взволнованной.

— Нет, ты обязательно должен к ней сходить. Она мне всё рассказала. Это удивительно. Она сказала, что я кончу свои дни на востоке, в большом городе у реки, и буду там сама гадать людям.

— В Константинополе, — сказал Ипполит Матвеевич.

— Нет, дальше.

— Дальше Константинополя ничего нет, — авторитетно сказал Ипполит Матвеевич.

Но он, проигравший накануне в безик семьсот франков заезжему россиянину, только посмотрел на свои кофейные с чёрными лампасами панталоны и неожиданно сказал:

— Едем, милая, домой. Давно пора.

4.

Барановск был завален снегом. Тяжёлые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледеленные деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звёзды, крестики и другие морозные знаки отличия медленно садились на нос Ипполита Матвеевича.

С вокзала он ехал на низких санках, небрежно поглядывая на новое здание биржи, сооружённое барановскими купцами в ассиро-вавилонском стиле, и на каланчу Пушкинской части с двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины.

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. Внезапно в окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал летать. Внизу никто не отзывался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. — Тоже... Париж.

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошёлся очень мирно. Продолжал бывать у неё, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался, когда заставлял у неё молодых офицеров, большей частью бойких и прекрасно воспитанных.

Предсказание мадам де Сюри Ипполит Матвеевич забыл в тот же вечер. А зря. Через восемнадцать лет Елена Станиславовна, овдовевшая, обедневшая и всё ещё «к поцелуям зовущая», доберётся с последним беженским эшеленом до Омска и откроет на Атаманской улице маленький салон, где будет гадать на картах отставным полковникам. Большой город у реки окажется Омском, а восток — Сибирью, о которой Ипполит Матвеевич знал только то, что дальше Константинополя ничего нет.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своём особняке на Денисовской улице, ведя лёгкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности и, морщась от боли, выдирал стальным пинцетом высовывающиеся из ноздрей волоски. Посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Абрамовым и прошёл с ним арию Жермена из «Травиаты». Когда приступили к арии Риголетто «Куртизаны, исчадия порока», баритон с негодованием обнаружил, что Ипполит Матвеевич живёт с его женой, колоратурным сопрано. Последовавшая сцена была ужасна. Возмущённый до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и укатил в Казань.

Скабрёзные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже 1905 год, принёсший беспокойство и тревогу, не поколебал в Ипполите Матвеевиче природной жизнерадостности и веры в твёрдые устои российской государственности. К тому же в его имении всё прошло тихо, если не считать сожжения двух стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Зимой газеты принесли известие о том, что в Красноярске и Чите рабочие и солдаты создали Советы, отменили денщиков и три недели управляли городами сами. Барановское общество было потрясено. Ипполит Матвеевич прочёл заметку вслух в клубе и сказал:

— Сибирская республика — это когда каторжники выбирают себе конвой.

В клубе долго смеялись. Потом пришли телеграммы о карательных поездах, и смеяться перестали, потому что стало неинтересно. Сибирь снова ушла за Урал, туда, где ей было место по мнению барановского общества: в каторжные песни и в отчёты министерства юстиции.

5.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая тонкие различия между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова.

Произошло это после того, как отъявленный холостяк, наехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой — долговязым и кротким скелетом. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию кроткого скелета белые розы, а на третий сделал предложение, женился и вскоре был избран уездным предводителем дворянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А Клавдия Ивановна! Ты знаешь, она называет меня Эполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно!

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гутен морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завёл оживлённую переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самой полной коллекцией русских земских марок.

В каталоге своей коллекции Ипполит Матвеевич аккуратно, губерния за губернией, расписал все земства империи. Дойдя до Сибири, он вывел каллиграфическим почерком: «Земства нет. Марок нет». И, подумав, приписал: «И не будет». Это была, пожалуй, единственная политическая мысль, которую Ипполит Матвеевич записал в своей жизни. Она оказалась неверной.

Превосходство англичанина в области коллекционирования сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему одолеть коварного врага из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя губернской земской управы, смешливого старика, на выпуск новых марок Барановского губернского земства, чего не бывало лет десять. Новые марки вышли в количестве двух экземпляров и были включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца он получил от Энфильда учтивое письмо: англичанин просил продать ему одну из этих редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слёзы. Он немедленно сел за ответ и написал латинскими буквами: «Nacosia — vicousi!»

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась, и удовлетворённая страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Ипполита Матвеевича стали звать бонвиваном. Он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тёщи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды попыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и на обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Сейчас же вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены полумесяцем. Посредине, на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков, лежала шкура юбиляра. Шарабарин, клонувший уже с утра и ослеплённый магнием фотографов, дико поглядывал по сторонам и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу дали слово поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя волчью шкуру и, позабыв о семейных делах, торжественно произнёс:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени барановских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на неё сопротивляющегося Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

Речь имела успех. Ипполит Матвеевич её запомнил. Через четырнадцать лет он почти слово в слово повторит её молодожёнам у перилец калачинского загса, и барышни-сослуживцы будут хрюкать в чернильницы. Это была его единственная речь, и она годилась на все случаи жизни: для волков, для молодожёнов и, как выяснится, для покойников.

В этот наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся весёлый и злой. Тёща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил тот поступок в кафешантане «Сальве», который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

6.

Был 1913 год. Двадцатый век расцветал.

Французский авиатор совершил знаменитый перелёт из Парижа в Петербург на приз шампанской фирмы. Дамы в корзинных шляпах с зонтиками и гимназисты старших классов встретили «победителя воздуха» восторженными истериками. «Победитель воздуха», несмотря на перенесённые испытания, чувствовал себя бодро и охотно пил шампанское, а потом и русскую водку.

Жизнь была ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. В газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля к страдающим от тайных болезней. Читатели жадно внимали, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.

На московском вокзале толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии поэта Бальмонта. Толстощёкая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, который прикрепит к потолку рояль и оскорблял присутствующих дам. Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Двое молодых людей хорошего тона — двадцатилетний барон и сын видного чиновника министерства иностранных дел — познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса и убили её, чтобы ограбить. В синематографах на морщинистых экранах шла сильная драма из русской жизни «Княгиня Бутырская» и комическая «Талантливый полицейский» (гомерический хохот).

Империя праздновала трёхсотлетие дома Романовых. Из Спасских ворот выходил крестный ход, и десятипудовый протоиерей читал устрашающим голосом высочайший манифест. В барановских «Ведомостях градоначальства» появился ликующий стишок местного цензора:

— Скажи, дорогая мамаша, Какой нынче праздник у нас? В блестящем мундире папаша, Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трёхсотлетия. И папаша, действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках, катили на пролётках к стрельбищному полю, где назначен был парад гарнизона, кадетского корпуса и казённых гимназий.

На парад из далёкой Сибири прибыл подарок, о котором писали все газеты. Союз сибирских маслодельных артелей прислал в губернские города, по одному на каждую губернию, бюст государя императора, вылепленный из лучшего сибирского сливочного масла, в натуральную величину. В Барановск бюст привезли в вагоне-леднике, торжественно установили на постаменте у стрельбищного поля и открыли под звуки гимна. Был июнь. Солнце пекло. К середине парада государь начал потеть, к концу молебна у него поплыли усы, а к тому времени, когда кадеты прошли церемониальным маршем, на постаменте осталась только золотистая лужа, над которой кружились мухи. Губернатор велел составить протокол, но не знал, на кого.

Из Омска пришло письмо от Ангелова, который принимал участие в изготовлении бюстов. Ангелов писал, что очень огорчён, но что это, по его мнению, к добру: «Значит, масло наше натуральное, без примеси. А монархия, Ипполит Матвеевич, она тоже, как масло: в холоде держится, а на солнышке течёт».

Ипполит Матвеевич счёл это письмо дерзким, но дом в Омске всё-таки купил.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости. А вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли на извозчиках в жандармское управление. Это не наделало

шума. Гулянье продолжалось, и далеко за полночь в тёмном небе блистал, сокращался и снова пылал под ветром фейерверочный императорский вензель.

В это самое время рабочий Мнухин, держа в руке картуз и чувствуя себя несвободно, стоял перед столом жандармского ротмистра Аугуста. Ротмистр был краток:

— Прокламации тебе кто дал?

— Никто не давал.

— А они откуда ж взялись?

— Не знаю.

И два стражника увели Мнухина через весь город, мимо канатного депо, водопроводной башни, кладбища, через пустыри — в тюрьму. Мнухин шёл широким шагом, изредка с любопытством поглядывая на кувыркавшийся фейерверк. Через три месяца его выслали в Нарымский край, на пять лет. Обратного в Барановск он не вернулся. В 1927 году Мнухин будет депутатом Сибирской думы от социал-демократов и, говорят, самым нудным оратором фракции: он будет говорить по три часа о рабочем контроле на маслозаводах, и даже эсеры будут засыпать.

В тот же вечер, на торжественном ужине у губернского предводителя, Ипполит Матвеевич, уже основательно выпивший, рассказал соседке по столу ещё одну свою шутку:

— Знаете, почему в Сибири нет дворян? Потому что их туда возят только в кандалах.

Соседка засмеялась. Губернский предводитель тоже засмеялся. Через пять лет Ипполит Матвеевич поедет в Сибирь без кандалов, но и без дворянства, и шутка его повиснет, как недоеденный кусок фейерверка.

7.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого ещё пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка на Денисовской улице на гамбсовском стуле, вынесенном из гостиной. Ему было тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребёнок во чреве матери, мягко шевелился свежий анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Тёща была побеждена, денег было много, на будущий год он замыслил новое путешествие за границу.

Ипполит Матвеевич видел в своём воображении мелкую рябь остендского взморья, графитные кровли Парижа, тёмный лак и сияние медных кнопок международных вагонов. Сибирь в его воображении не помещалась вовсе.

Не знал Ипполит Матвеевич, что через год начнётся война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем. И не знал, что в семнадцатом году мужики из его деревни, которых он всю жизнь считал дураками и скотами, как, впрочем, и своих лакеев, и своих приказчиков, и всех сибиряков вместе взятых, вдруг соберут сход, поделят его землю, вывезут его лес и отпустят на волю шестнадцать голубиных стай, сказав, что голубь — птица Божья. Ипполит Матвеевич будет очень удивлён. Он не поймёт, как это дураки и скоты могли сговориться между собой без его ведома. Париж ему не поможет. Не поможет и губернатор, которого к тому времени уже не будет, и гимназические товарищи из министерства внутренних дел, которых по большей части расстреляют.

Не знал он и того, что осенью семнадцатого года, по совету Ангелова, присланному телеграммой («В Сибири спокойно тчк Везите мебель тчк Масло растёт»), он отправит в Омск, в купленный по телеграфу дом с колоннами, два вагона мебели и ценностей. Среди них поедет гамбсовский гарнитур — диван, два кресла, круглый столик о шести ножках и двенадцать стульев, обитых английским ситцем в цветочек, — тот самый, на одном из стульев которого он сидит сейчас. И что в восемнадцатом году его выгонят из собственного особняка, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, вместе с кротким скелетом Мари и с тёщей, на которой не найдут ничего, хотя найти было что, побежит за своей мебелью через Глазов в товарно-пассажирском поезде.

Не воображал Ипполит Матвеевич (а если бы и воображал, то всё равно не понял бы) ни беженской очереди в Омске, где он будет стоять вместе с полтавскими переселенцами, ни красного эсеровского знамени на вокзале, ни комиссионного магазина на Любинском проспекте, ни ресторана «Аквариум», где он за один вечер проест двенадцать стульев. Не воображал тифозной зимы двадцать второго года в Калачинске, когда кроткий скелет Мари тихо умрёт под фиолетовым одеялом, так и не сказав мужу ни одного упрёка, потому что упрекать за неё будет мать. Не воображал войлочной подушечки, английского лозунга, который никто не может прочесть, и прозвища «Дядя Сэм».

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет, ещё крепким мужчиной с чёрно-зелёными усами, он приедет в Омск чужим человеком искать клад своей тёщи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул. Стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским вензелем, мечтать о том, как прекрасна жизнь.



Глава VII. Великий комбинатор

1.

В половине двенадцатого со стороны Куломзина, через понтонный мост над Иртышом, в Омск вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал мальчишка-газетчик с тремя пачками газет под мышкой.

— Дядя! — весело кричал он. — Купи «Народную Сибирь»! Купи «Сибирскую жизнь»! Купи «Рабочую газету»! Ну дай хоть десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его газетчику, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:

— Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся газетчик понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал, выкрикивая на ходу, что в Томске опять коалиционный кризис.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошёл в зелёном, узком, в талию, костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астробию.

Вошёл он пешком, а не приехал поездом, и на то были причины. На омском вокзале, по ту сторону Иртыша, дежурила железнодорожная стража, рослые чалдоны с бело-зелёными нашивками, которые отличались феноменальной памятью на лица. Поэтому молодой человек сошёл с поезда на полустанке за десять вёрст до города и проделал остаток пути по шпалам, а потом по понтонному мосту, только что наведённому после ледохода. Иртыш ещё нёс последние льдины, мост покачивался, и молодой человек шёл по нему так, как ходят по палубе люди, привыкшие к качке, то есть к жизни.

В боковом кармане зелёного пиджака лежал его единственный документ. Это была справка, выданная Новониколаевским губернским исправительным домом, о том, что гражданин такой-то прослушал при исправительном доме полный курс кооперативного счетоводства и сдал экзамен «с отличием». Исправительный дом в Новониколаевске был образцовый, им гордилось губернское земство. В нём читали лекции об индустриализации, о травопольном севообороте и о вреде пьянства, имелась библиотека в три тысячи томов и выборный староста в каждой камере. Молодой человек за полтора года прочёл всю библиотеку, дважды был выбран старостой и один раз, на выборах в совет камер, провалил кандидата от социал-демократической фракции. Из исправительного дома он вышел образованнейшим человеком, знатоком уставов, отчётов и балансов, и твёрдо знал теперь, как в Сибири делаются деньги. Деньги в Сибири делались на кооперации. Это было единственное, в чём сходились все три партии и все заключённые Новониколаевского исправдома.

2.

— О, Баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра! — запел он, подходя к Казачьему базару.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперёд астролябию и серьёзным голосом стал кричать:

— Кому астролябию?! Дёшево продаётся астролябия! Пайщикам кооперативов скидка! Земским управам в рассрочку!

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Омские хозяйки больше интересовались американскими швейными машинами и харбинским шёлком и толпились у мануфактурных рядов. Мимо продавца астролябии уже два раза прошёл агент губернской уголовной милиции. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии правления Закупсбыта пишущую машинку «Ундервуд», агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушёл. Машинку, впрочем, так и не нашли. Как выяснилось потом, её взял на время член правления от эсеровской фракции, чтобы напечатать особое мнение по вопросу о ценах на масло, и забыл вернуть.

К обеду астролябия была продана земскому землемеру за три рубля золотом.

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.

— Мерять у нас есть что, — с достоинством ответил землемер. — У нас одних переселенческих участков на три губернии не намеряешь.

— Тогда она вам послужит, — сказал молодой человек. — Только не давайте её областникам. Они ею меряют расстояние до Москвы и каждый раз огорчаются, что недостаточно далеко.

Освободившись от хитрого инструмента, весёлый молодой человек пообедал в столовой потребительского общества «Сытый пайщик» и пошёл осматривать город.

3.

Омск был городом, который чуть не стал столицей.

Это обстоятельство чувствовалось здесь на каждом шагу. В восемнадцатом году, когда в городе сидели штабы, все приличные здания были заняты под ставки, управления, отделы и комиссии, и над подъездами висели вывески с орлами и без орлов. Потом, когда с Москвой заключили мир, а столица окончательно утвердилась в Томске, штабы съехали, военные разошлись по кафе, а вывески остались. Их никто не снимал, потому что каждая из трёх партий рассчитывала, что когда-нибудь вывески понадобятся ей. Поэтому на омских особняках можно было прочесть «Главное управление по делам формирования», «Ставка» и «Отдел контрразведки», хотя в особняках давно помещались школы, кооперативные склады и правления маслоартелей. Приезжие пугались. Омичи гордились.

Был в Омске и ещё один предмет гордости, который приезжие обычно принимали за путаницу. Молодой человек прошёл улицу Демократии, вышел на проспект Сибирской автономии (бывший Любинский), пересёк Кооперативную и снова очутился на улице Демократии. Но это была уже не та улица Демократии, которую он прошёл: в городе их было две.

Объяснялось это просто. В двадцать четвёртом году городская дума решила переименовать в честь демократии одну улицу. Эсеровская фракция предложила для этого Дворянскую, областническую — Атаманскую. Спорили три месяца, и наконец в один и тот же день обе фракции, каждая своим постановлением, проведённым в отсутствие другой, переименовали каждая свою улицу. Отменить чужое постановление ни одна сторона не могла, уступить своё не хотела. Так в Омске стало две улицы Демократии, и почтальоны, доставляя письма, всякий раз спрашивали у адресата, какой он партии.

Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек снова вышел на проспект Независимости, который все омичи по-прежнему звали Любинским. Новое название проспекта знали только почтальоны и члены городской думы.

Подле красивого двухэтажного особняка с колоннами и мезонином молодой человек остановился. Над подъездом висела вывеска: «Дом призрения престарелых беженцев Омского губернского земства». Под ней была другая, поменьше, оставшаяся от прежних времён: «Квартирмейстерская часть Ставки». На каменной скамеечке у ворот сидел старый дворник в фартуке и курил трубку.

Молодой человек подошёл прикурить.

4.

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме, да без невест?

— Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут земская богадельня. Беженки из России живут, на полном пансионе. Генеральши, помещицы, одна даже фрейлина была. Земство их кормит.

— Понимаю. Это которые ещё при крепостном праве балы давали?

— Уж это верно. Когда давали, тогда и давали.

— А в этом доме что было до земства?

— Когда было?

— Да тогда, до богадельни?

— А до богадельни барин мой жил.

— Рассейский?

— Сам ты рассейский! Он не рассейский был. Предводитель дворянства.

— Кооператор, значит?

— Сам ты кооператор! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в социальной структуре сибирского общества, продолжался бы ещё бог знает сколько, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил молодой человек.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

5.

Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный».

Сын турецко-подданного за свою жизнь переменял много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны, а в восемнадцатом году, вместе с отступающими, наступающими и просто бегущими, перекинула через Урал. Через год между Сибирью и Советской Россией закрылась граница, и Остап остался по эту сторону. Здесь он попробовал многое: был инструктором по кролиководству при одном земстве, читал платные лекции «Есть ли жизнь на Марсе и можно ли там сбивать масло», учредил кооператив по сбору кедрового ореха, который не собрал ни одного ореха, но собрал паевые взносы. Последнее обстоятельство и привело его на полтора года в образцовый Новониколаевский исправительный дом. А теперь живость характера привела его в Омск, где его не знал никто, без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лёжа в тёплой до вониючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. Сибирь для этого подходила как нельзя лучше. Она была велика, города в ней стояли далеко друг от друга, а загсы в каждом уезде вели книги по-своему и сверяться не любили.

А можно было завтра же пойти в губернскую земскую комиссию по народному образованию и предложить ей взять на себя распространение ещё не написанной, но гениально задуманной картины «Сибирское Учредительное собрание пишет письмо Совнаркому», по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Репродукции можно было бы разослать по всем земским школам республики, от Челябинска до Владивостока, с тем чтобы дети с малых лет усваивали основы сибирской свободы. В случае удачи этот вариант мог принести рублей пятьсот золотом.

Оба варианта были задуманы Остапом в исправительном доме. Вариант с многоженством родился под влиянием судебного отчёта в томской газете: некий многоженец получил всего год исправительного дома с правом посещения библиотеки. Вариант с картиной родился, когда в исправительный дом привезли передвижную выставку сибирских художников и Остап три часа простоял перед полотном «Открытие Учредительного собрания в Томске», на котором гласные были изображены такими строгими, будто их писали для некролога.

Однако оба варианта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зелёном костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап, «низкий сорт, не чистая работа».

С картиной тоже не всё обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Президента Вологодского в папахе и белой бурке, хохочущего над письмом, нарисовать было можно: он был человек солидный и вынес бы. Министра внутренних дел Новосёлова голым по пояс — тоже можно, он был молод. Но главная трудность была в другом. В центре репинской картины, как известно, хохочет атаман. А в Сибири атаманом был каждый из трёх лидеров трёх партий, и каждая партия потребовала бы, чтобы в центре хохотал её человек. Эсеры не допустили бы, чтобы смеялся областник, областники — чтобы социал-демократ, а социал-демократы вообще считали смех над Совнаркомом несвоевременным. Можно было,

конечно, посадить в центр всех троих, но тогда картина вышла бы похожей не на запорожцев, а на заседание согласительной комиссии.

— Не будет того эффекта! — произнёс Остап вслух.

6.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чём-то горячо говорит. Оказалось, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.

Звали дворника Тихоном. При доме он состоял с самой постройки, ещё при купце, у которого Воробьянинов купил особняк. Потом пять лет, пока новый хозяин не ехал из России, сторожил пустые комнаты. А в восемнадцатом году, когда барин наконец приехал, был при нём дворником, швейцаром, истопником и, в трудные минуты, кредитором.

— Полковник из ставки ему честь отдавал... — говорил Тихон. — Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трёшку даёт. На Пасху, положим, буду говорить, — ещё трёшку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну вот, одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит. Медаль даже обещался мне представить. «Я, — говорит, — хочу, чтоб дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью».

— Ну и что, дали?

— Ты погоди. «Мне, — говорит, — дворника без медали не нужно». В Томск поехал за медалью. «Вологодский, — говорит, — мне знакомый». Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа из канцелярии не захотели. «У нас, — говорят, — демократия. Медалей для дворников не предусмотрено. Предусмотрена благодарственная грамота от земской управы». Барин вернулся злой. «Ты, — говорит, — Тихон, жди. Демократия не навсегда».

Тихон помолчал и с горечью добавил:

— Какая это власть, если медали не дают? При государе медали давали. Адмирал Колчак, говорят, своим матросам и сейчас даёт, на Обской флотилии. А при демократии — грамота. Что я с грамотой делать буду? На грудь её не повесишь.

— А твоего барина что, посадили? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не сажал. Сам уехал. Дом продал земству под старух и уехал.

— А теперь медали за дворническую службу дают?

— Не дают. Я ж тебе говорю.

— Дают, — сказал Остап. — Если знать, кого спросить. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает. Люди говорили, в Париж уехал.

— А! Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант! В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь. Они сами у меня в долг берут, на табак. Эх! Барин был!

7.

В этот момент над дверью задёргался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплёлся к двери, открыл её и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Чернота, впрочем, была с явным зеленоватым отливом, как у бутылочного стекла. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон. — Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущённый присутствием в дворницкой постороннего, чьи голые фиолетовые ступни он только сейчас увидел из-за края стола, хотел было бежать. Но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед ним.

— У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. — Я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— Понимаю, — сказал он, кося глазом. — Вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Тюкалинска навестить свою покойную бабушку...

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось. Когда Тихон опомнился, он мог сообразить только то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на рубль, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару пива «Сибирский медведь», единственного, на котором был изображён зверь, а не мас-лобойка.

Тщательно заперев за дворником дверь на крючок, Бендер обернулся к всё ещё стоявшему посреди комнаты Воробьянинову и сказал:

— Спокойно, всё в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слышали?

— Не слышал, — нервно ответил Ипполит Матвеевич.

— Ну да, откуда же в Париже знать имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шёлковый платок в заказном письме, через Харбин...

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

— Понимаю. Из Барабинска.

Ипполит Матвеевич никогда ещё не имел дела с таким темпераментным молодым человеком и почувствовал себя просто плохо.

— Ну, знаете, я пойду, — сказал он.

— Куда же вы пойдёте? Вам некуда торопиться. Вам, судя по всему, вообще некуда идти.

Ипполит Матвеевич не нашёлся что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймёте. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты, прошёлся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Челябинскую? Екатеринбургскую? Или через киргизскую степь, на верблюде? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу. Живёт он в деревне Звериноголовской, с нашей стороны, а родители его жены — в станице Усть-Уйской, с той стороны, советской. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родите-

лям. Посидел этот знакомый дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в избе грязно, корова не доена. Решил помириться. Вышел ночью и пошёл через границу к тестю. Тут его советские пограничники и взяли, пришили ему шпионаж в пользу сибирского масла, посадили на шесть месяцев, а потом ещё исключили из советского профсоюза, хотя он в нём никогда не состоял. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в советском допре сидит. Она ему через границу передачи носит, а таможня с них пошлину берёт... А вы тоже через Челябинск переходили?

— Честное слово, — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам, — честное слово, я здешний. То есть сибирский. То есть беженец, но законный. Я могу вам показать удостоверение...

— При нынешнем развитии печатного дела в Москве напечатать сибирское беженское удостоверение — это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на иркутской бирже. Потом оказалось, что его родной дедушка, известный валютчик, скупал их там же и совершенно разорился, потому что доллары были всё-таки фальшивые. Так что вы со своим удостоверением тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о тёмных делах его знакомых, всё же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу о приезде бывшего предводителя.

Робость эта имела основания вполне практические. В девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом годах Ипполит Матвеевич жил в Омске широко, а платил узко. Он задолжал ресторану «Аквариум», портному Ковалёву, извозчицкой бирже, кондитерской Ломакина, кредитному товариществу «Взаимная помощь» и лично маслоторговцу Ангелову, который однажды, по старой памяти, ссудил ему двести рублей и с тех пор при встрече отворачивался. Все эти долги были записаны, засвидетельствованы и, что хуже всего, никуда не делись. В Советской России, как слышал Ипполит Матвеевич, старые долги отменила революция. В Сибири революция их не отменила. Здесь их взыскивал мировой судья, а мировые судьи в демократической Сибири работали исправно, не брали взятки и выносили решения в двухнедельный срок. Этого Ипполит Матвеевич боялся больше, чем любой тайной полицией.

— Вы всё-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал он. — Тут у меня... кредиторы.

— Вот! Вот это конгениально! — Остап даже хлопнул себя по колену. — Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в город, где он всем должен. Пассив: он боится мирового судьи. Это уже кое-что. Это уже можно обсуждать.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я законный эмигрант!

— Это совершенно неважно. Мировому судье всё равно, законный вы или незаконный. Зачем вы сюда приехали?

— Ну, приехал из Калачинска по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы не перебежчик? Один мой знакомый тоже приехал по личному делу...

Тут Ипполит Матвеевич, доведённый до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьёшь с позиции, покорился.

— Хорошо, — сказал он. — Я вам всё объясню.

«В конце концов без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич. — А жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».



Глава VIII. Бриллиантовый дым

1.

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую кастановую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка небольших электрических искр (химтрест, по-видимому, добавлял в «Титаник» что-то металлическое), и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходивцу, всё, что знал о бриллиантах со слов умирающей тещи.

Рассказывал он долго и не по порядку. Начал почему-то с Барановска, с белых роз к подножию кроткого скелета, потом перескочил на Глазов, где его трижды обыскивали, потом на комиссионку на Любинском и на ресторан «Аквариум», о котором говорил особенно неохотно. Остап не перебивал. Только в нескольких местах он вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

— Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Лёд тронулся!

Печка молчала, как и подобает присяжным. Слова эти Остап произносил с особенным чувством, и тому были причины. Во-первых, лёд действительно тронулся: Иртыш вскрылся только позавчера, и Остап ещё сегодня утром шёл по понтонному мосту, качавшемуся над последними льдинами. Во-вторых, присяжные заседатели в Сибири были настоящие. Суд присяжных восстановило ещё Учредительное собрание в девятнадцатом году, и с тех пор сибирские присяжные, двенадцать бородатых мужиков, маслоделов и кедробоев, решали судьбы подсудимых с такой основательностью, с какой решают на сходе вопрос о покосах. Остап знал их лично. Полтора года назад, в Новониколаевске, он произнёс перед ними последнее слово о кедровом кооперативе, длившееся час двадцать минут. Присяжные плакали, жалели его, восхищались им, а потом единогласно признали виновным. «Талант у тебя, парень, — сказал ему старшина присяжных, пожилой маслодел, выходя из зала, — а орехов всё-таки не было».

С тех пор Остап относился к присяжным заседателям с нежностью, как к людям, которых ему не удалось обмануть.

2.

Через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тётчины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Список был написан рукой Клавдии Ивановны, по-французски, с ошибками, с ценами в довоенных рублях и с подчёркнутой дважды общей суммой.

Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением переводил:

— Три нитки жемчуга... Хорошо помню... Две по сорок бусин, а одна большая, в сто десять... Бриллиантовый кулон... Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы...

Дальше шли кольца — не обручальные, толстые, глупые и дешёвые, а тонкие, лёгкие, с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами. Тяжёлые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь. Браслеты в виде змей с изумрудной чешуёй. Фермуар, на который можно было купить американскую турбину для строящейся омской электростанции, ту самую, о которой вторую неделю писали все три партийные газеты: эсеровская — что турбина народная, областническая — что сибирская, а социал-демократическая — что она будет работать на пролетариат, хотя пролетариата, который бы её обслуживал, в Омске пока не было. Жемчужное кольцо, которое было бы по плечу разве только знаменитой опереточной примадонне. А венцом всего была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По тёмным углам зачумлённой дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

— Сто тысяч, — сказал Ипполит Матвеевич и машинально прибавил: — Пятьдесят тысяч долларов.

— Мгу... Это до войны. А теперь, значит, полтораста тысяч золотом. По харбинскому курсу — тысяч семьдесят пять долларов. Камни, знаете ли, дорожают, когда за ними гоняются.

— Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на всё это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи сибирской независимости. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Ваш гостиный гарнитур, — сказал Остап с безжалостностью хирурга, — давно растащили по всему Омску. Сейчас в Омске строят заводы. Каждому заводу нужна контора, каждой конторе нужны стулья, а стульев в Омске нет, потому что все стулья ушли на заседания. Ваш гамбсовский стул стоит сейчас где-нибудь в конторе американской фирмы «Интернешнл Харвестер». Американский инженер, мистер какой-нибудь Смит, кладёт на него ноги, потому что так принято в Чикаго. А рядом, на другом вашем стуле, сидит эмигрант-переводчик из Москвы и переводит мистеру Смиту вершки на дюймы. И оба не подозревают, что сидят на ста пятидесяти тысячах.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

3.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.

— Мы с вами, — сказал он, — образуем концессию. Сейчас в Сибири это самое модное слово. Англичане получили концессию на Омском механическом, американцы — на сельхоз-машинах, японцы просят рыбу, а мы с вами получим стулья. Условия, как у англичан, жёсткие. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов. Земский налог можете за меня не платить. Это мне всё равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабёж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предложить?

— Н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей! Золотом!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да ещё дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать, где нет милиционера?

— В таком случае простите! — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае простите, — возразил великолепный Остап. — У меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один смогу справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что наши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. Без меня вы в Омске за сутки попадёте к мировому судье, а за неделю к Ангелову. И неизвестно ещё, что хуже.

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

— Двадцать процентов, — сказал он угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап.

— Двадцать пять.

— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

— К чему такая точность? Ну так и быть — пятьдесят процентов. Половина ваша, половина моя.

Торг продолжался. Остап ещё уступил. Из уважения к личности Воробьянинова он соглашался работать за сорок процентов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов.

— Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Я не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевёл.

— Ну что, тронулся лёд? — добавил Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель чалдонов! Лёд тронулся! Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!

Ипполит Матвеевич вспыхнул.

— Я не чалдон! — сказал он с дрожью в голосе. — Я русский дворянин! Я требую извинений!

Остап немедленно извинился. Извинительная речь заняла семь минут и была составлена так искусно, что к концу её Ипполит Матвеевич оказался уже не предводителем чалдонов, а президентом.

— Президентом чего? — подозрительно спросил Ипполит Матвеевич.

— Концессии, — успокоил его Остап. — Пока концессии. А там посмотрим. Вологодский тоже начинал с малого.

Ипполит Матвеевич смягчился. Слово «президент» ему понравилось. Оно было новое, американское и вместе с тем звучало солидно. Приступили к выработке диспозиции.

4.

В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Ледоход» на Любинском рубль, чудесным образом попавший ему в руку.

Пивная «Ледоход» была старая, ещё купеческая, но публика в ней за последний год переменилась. Раньше сюда ходили приказчики, извозчики и маслоделы, приезжавшие в город сдавать продукцию. Теперь за столами сидели люди в брезентовых куртках, пахнувшие цементом и машинным маслом, с жестяными жетонами американской фирмы на груди. Это были рабочие со строительной площадки нового Омского завода сельскохозяйственных машин, который возводили за Омыю на американские кредиты.

Завод был гордостью республики и предметом всеобщего недоумения. Строили его американцы, проектировали американцы, а руководили стройкой инженеры, наполовину американские, наполовину московские эмигранты. Американцы говорили только по-английски и мерили всё в дюймах. Московские эмигранты говорили по-английски плохо, а по-русски с досадой и переводили дюймы в вершки, потому что метрической системы не признавали из принципа, считая её большевистской. Рабочие, сибирские мужики, вчера ещё пахавшие землю, получали чертежи в вершках, а детали из Америки в дюймах. Детали к чертежам не подходили. Тогда звали эмигранта, эмигрант звал американца, американец говорил «о'кей», и деталь подгоняли кувалдой. Что в конце концов выйдет из этой стройки — трактор, сеялка или памятник американо-сибирской дружбе, — не знал никто, включая американцев.

Но над стойкой «Ледохода» висел новенький громкоговоритель, установленный по распоряжению губернского земства, и из громкоговорителя каждый вечер в восемь часов говорил Томск. Сейчас как раз говорил президент. Голос у Вологодского был тихий, усталый и примирительный, как у человека, только что помирившего трёх родственников за праздничным столом.

— ...Индустриализация Сибири, — говорил президент, — есть дело всенародное, необходимое и, я бы сказал, неизбежное. Она опирается на трудовую основу нашей жизни, служит единству сибирского народа и ведёт к процветанию... к процветанию... трудового единства Сибири. Каждый станок, установленный на сибирской земле, — это шаг к процветанию. Каждый американский доллар, вложенный в сибирский завод, — это доллар, который работает на сибирское единство...

— Это он про кредиты, — объяснил рабочий в брезентовой куртке соседу. — Американцы нам доллары дают, а мы им потом трактора отдаём. Или масло. Я не понял.

— А сами трактора кому?

— Нам же и продадут. В рассрочку.

— Это как же: мы делаем, нам же продают, а платим американцам?

— Это индустриализация, — сказал рабочий значительно. — Президент сказал — нужно.

Вологодский тем временем закончил, и громкоговоритель заиграл марш «Прощание славянки», переложенный для духового оркестра Омской вольной пожарной дружины.

Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного приboя, и пытались играть одновременно с громкоговорителем, но всё время отставали на полтакта.

Появлением барина и тремя бутылками пива «Сибирский медведь» дворник был растроган до глубины души. Всё казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и громкоговоритель, и даже предостерегающий плакат: «Просьба нецензурными словами не выражаться». Слово «не» давно было вырвано с мясом каким-то весельчаком, и эта особенность страшно смешила дворника. Он крутил головой и бормотал:

— Выдумали же, дьяволы!

Насмеявшись вдоволь, Тихон взял последнюю бутылку и пошёл к соседнему столику, за которым сидели совершенно незнакомые ему молодые люди в пиджаках, конторщики из правления Закупсбыта.

— А что, ребята, — спросил Тихон, подсаживаясь, — верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?

Молодые люди загоготали.

— Какие помещики, дед? — спросил один. — В Сибири их отродясь не было. Кому отдавать-то?

— А, буду говорить, помещик, положим, вернулся. Мой барин. И ему земли не дадут?

— Дадут, — серьёзно сказал другой конторщик. — Пускай пишется в переселенцы. Пятнадцать десятин на мужскую душу, если сход примет. Только сход его сперва спросит, умеет ли он пахать.

— Как это — сход? — изумился Тихон. — Сход барина принимать будет?

— А как же. У нас демократия. Сход всех принимает. И барина примет, если он справку от волостного агронома принесёт.

Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел ещё больше и забормотал что-то несуразное про вернувшегося барина и про медаль. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика.

— Барин, — бормотал Тихон, — медаль даст. Приехал мой барин.

— Ну и дурак же! — подытожили молодые люди. — Это чей дворник?

— Беженской богадельни. Бывшего Воробьяниновского дома.

— Вернётся он сюда, как же! Ему и в Париже неплохо.

— А может, и вернулся, — сказал третий, самый догадливый. — Сейчас эмигрантов на завод инженерами берут. Дюймы в вершки переводить. Может, в спецы метит.

Это предположение вызвало за столом такой хохот, что гармонисты наконец догнали громкоговоритель.

5.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго при-
нимая к фонарным столбам, тащился в свою пещеру. На его несчастье, было новолуние, а новые
электрические фонари на Любинском, установленные по программе индустриализации, горели
только через один: на второй половину не хватило американского кредита.

— А! Работник метлы! — воскликнул Остап, заведя согнутого в колесо дворника. —
Пролетарий фасадного труда!

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины
вдруг горячо и хлопотливо начинает мычать водопроводная труба.

— Это конгениально, — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. — А ваш дворник
довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

— М-можно, — неожиданно прозрев, сказал дворник.

— Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич, — не знаешь ли ты, дружок, что с
моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко
открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворнического рта, в котором
зубы росли не подряд, а через один, как фонари на Любинском, вырвался оглушающий крик:

— Бывывывали дни веселые...

Дворническая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво исполнял свой хорал,
не пропуская ни одного слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под
стол, то ударяясь картузом о медную гирю ходиков, то становясь на одно колено. Ему было
страшно весело. Наверху, в богадельне, проснулась и застучала в пол клюкой бывшая фрей-
лина.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придётся отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать.

6.

Дворника, тяжёлого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап легли вдвоём на дворницкую кровать.

У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в чёрную и красную клетку, американская, доставшаяся ему в Новониколаевске от одного миссионера в обмен на обещание прочесть Евангелие по-английски. Евангелие Остап так и не прочёл, а рубашку носил. Под рубашкой «ковбой» не было уже ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным уже читателю лунным жилетом оказался ещё один — гарусный, ярко-голубой.

— Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер. — Он мне как раз подойдёт. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать новому компаньону и непосредственному участнику концессии, и он, морщась, согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей.

— Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая ещё тёплый жилет.

— Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!

Ипполит Матвеевич покраснел ещё больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: «20/IV-27 г. выдано г-ну Бендеру р. 8».

Остап заглянул в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счёт, то хоть ведите его правильно. Я, к вашему сведению, дипломированный кооперативный счетовод, у меня справка с отличием. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте занести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — 59 992 рубля. Ещё можно жить. Ревизионная комиссия будет довольна.

— Какая ещё ревизионная комиссия? — испугался Ипполит Матвеевич.

— В Сибири, — назидательно сказал Остап, — не бывает концессии без ревизионной комиссии. Мы с вами — правление. А ревизионной комиссией будет Тихон. Он всё равно ничего не поймёт, а для отчётности нужно.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову снились сны чёрные: мировой судья в белых перчатках, кредиторы с исполнительными листами, выстроившиеся в очередь от «Аквариума» до самого Калачинска, ресторанный счёт за апрель двадцатого года, выросший с процентами до размеров диадемы, и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый, предлагающий похороны в кредит.

Остапу снились вулкан Фудзияма, американский директор Омского завода сельхозмашин, играющий на фисгармонии, и Ермак Тимофеевич в кольчуге, торгующий открытками с видами Кузнецкого металлургического комбината.

А дворнику Тихону снилось, что ему наконец дали медаль, большую, серебряную, на голубой ленте. Он её надел и пошёл по Любинскому, и все снимали перед ним шапки. Но тут

из-за угла вышла демократия — почему-то в виде трёх конторщиков из Закупсбыта, — медаль отобрала, а взамен выдала благодарственную грамоту от губернской земской управы. Тихон искал медаль до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный.

Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать то, что оставили за ночь извозчицьи лошади, и ругаться с американским грузовиком, который по утрам возил цемент мимо богадельни и пугал старых генеральш.





Глава IX. Следы «Титаника»

1.

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к отливу, устроенному тут же, в углу дворницкой. Водопровод в особняке провели ещё при прежнем купце, но провели, как тогда водилось, только в господские комнаты. Земство, получив дом под богадельню, собиралось протянуть трубу и в дворницкую, но смету третий год не могли утвердить: эсеры требовали начать с прачечной, областники — с кухни, а социал-демократы — с дворницкой, но непременно с рабочим контролем. Поэтому Тихон умывался по-старому, из рукомойника над отливом.

Ипполит Матвеевич умывался с наслаждением, отплёвывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно. Но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально-чёрным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы.

Сердце Ипполита Матвеевича сразу потухло. Он бросился к карманному зеркальцу, лежавшему на табуретке. В зеркальце отразились большой нос и зелёный, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный чёрный цвет ещё господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той же травянистой каймой, как клумба у земской управы.

Всё существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл свои чистые голубые глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.

— Товарищ Бендер, — умоляюще зашептала жертва «Титаника». — Господин Бендер... Гражданин...

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от президента концессии, технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «не могу!» и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, господин Бендер! — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелёными усами.

Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался ещё минут десять. Наверху, в богадельне, бывшая фрейлина снова застучала в пол клюкой. Отдышавшись, Остап сразу сделался очень серьёзным.

— Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как ревизор на недостатку? Вы на себя посмотрите. Вы похожи на флаг Сибирской республики. Не хватает только белого.

— Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально-чёрный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар. Советский. Московского химтреста.

— Московского? — Остап взял флакон двумя пальцами, как берут дохлую мышь. — Московский химтрест такого не делает. Московский химтрест делает только отчёты. Вся советская контрабанда, которая продаётся в Сибири, делается в Новониколаевске, на Нахаловке. Там есть мастерская, где советские этикетки печатают лучше, чем в Москве, и с орфографическими ошибками, для правдоподобия. Я лично знаком с её владельцем: мы полгода сидели в одной камере, и он читал там лекции о красителях... И потом посмотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это, маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой, мыльной пеной и керосином волосы надо не вытирать, а сушить на солнце или у примуса... Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдёте с этой зелёной липой? В ботанический сад?

Ипполит Матвеевич был подавлен.

2.

Вошёл Тихон. Увидев барина в зелёных усах, он перекрестился, подумал и перекрестился ещё раз, другой рукой, на всякий случай. Потом попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль ревизионной комиссии, — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счёт. Это ваше интимное дело с бывшим служащим. Подожди, отец, не уходи. Дельце есть.

Остап завёл с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали всё, что знал Тихон. Знал он немного, но помнил хорошо, как помнят люди, у которых в жизни было мало событий.

Весной двадцатого года, рассказывал Тихон, приехали к барину ломовики, четыре подводы. Барин стоял на крыльце в шубе, хотя было уже тепло, и считал стулья, когда их выносили: «Восемь... девять... одиннадцать... двенадцать». Двенадцатый вынесли последним, и на нём ломовики поскользнулись. Мостки тогда были мокрые, после дождя. Стул упал с подводы прямо на тумбу, и у него подломила задняя ножка. Бородатый, который приехал с ломовиками от магазина, посмотрел на стул и сказал: «С изъёмом не принимаю. У нас комиссия, у нас всё по описи». Барин махнул рукой: «Возьми себе, Тихон». И уехал с бородатым в магазин, а вечером, говорили, в «Аквариум».

— А ножку? — замирая, спросил Ипполит Матвеевич. — Ножку ты... чинил?

— А как же. Сам и чинил. Дощечку подложил, гвоздиком прибил. Хороший стул, крепкий. В старое время работа была хорошая. Ещё тридцать лет может выстоять.

— А сиденье? — ещё тише спросил Ипполит Матвеевич. — Обивку не трогал?

— Зачем её трогать? Сиденье целое. Цветочки на нём. Я на нём сидел три года, как барин. А потом, как дом под старух отдали, завхоз ихний, земский, пришёл и забрал. «Казённое, — говорит, — имущество, по описи передано». Я ему говорю: какое казённое, мне барин подарил. А он говорит: «Демократия, отец. Барские подарки недействительны». Унёс наверх, в гостиную, к генеральшам.

— Так он что, здесь, в доме?

— Здесь и стоит. Наверху. На нём фрейлина сидит, которая клюкой стучит. Она говорит, он ей Петербург напоминает.

Ипполит Матвеевич почувствовал, как у него задрожали колени. Остап посмотрел на потолок с таким выражением, с каким смотрят на сейф.

— А остальные одиннадцать? — спросил он. — Куда их бородатый повёз?

— В магазин, на Любинский. Комиссионный был такой, «Всё для дома». Только его давно нет. В двадцать третьем году закрыли. Земство налогом задавило, а бородатый собрался и уехал.

— Куда уехал?

— В Иркутск, говорили. У него там брат. Тоже по мебели.

— А фамилия? Фамилию помнишь?

Тихон долго думал, шевеля губами и закатывая глаза, как делают люди, которые точно знают, что знали, но никак не могут вспомнить.

— Не помню, — сказал он наконец с сожалением. — На «Ф» как-то. Или на «В». Бородатый он был, это помню. Борода вот такая, рыжая. А фамилию не помню.

— Ну иди, дружок, — сказал Ипполит Матвеевич, — возьми ещё рубль. Да смотри никому не говори, что я приехал. Особенно Ангелову.

— Могила, барин, — с чувством сказал Тихон и ушёл, крестясь то одной, то другой рукой.

3.

Услав дворника и прокричав «лёд тронулся!», Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича.

— Придётся снова красить. Давайте деньги, пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к чёрту не годится, только собак красить. Вот в старое время была красочка! Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Омский ипподром — лучший в республике, туда даже американцы ходят ставить, только ничего не понимают и всегда ставят на серых.

— Так вот. Был такой знаменитый эмигрант, граф Друцкий. Бежал из Москвы в восемнадцатом с тремя чемоданами, а через три года у него остался один, и тот пустой. Всё проиграл на омских бегах. Король проигрыша. Когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал, не застрелиться ли ему или, что ещё хуже, не пойти ли служить в кооператив, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал в Маньчжурию и через год вернулся с рысаком-трёхлеткой. Говорил, что чистокровный орловец, вывезенный из России контрабандой. С аттестатом. После этого граф не только вернул свои деньги, но выиграл ещё тысячу тридцать золотом. Его орловец Маклер всегда приходил первым. На большом осеннем призу он на целый корпус обошёл американского рысака мистера Харримана, которого привезли прямо из Кентукки. Гром! Американцы требовали проверки, но аттестат был в порядке...

— Но тут в Омске пошли осенние дожди, и один наблюдательный ветеринар из земской управы замечает, что все рысаки на ипподроме после дождя как рысаки, а у Маклера с боков течёт, и масть меняется, как у вас. Скандал был неслыханный! Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный монгольский иноходец с примесью американской крови. Знаете, эти монгольские лошадки — злые, маленькие и резвые, как черти, их к орловцам на версту не подпускают. Графу дали три года исправительного дома с правом пользования библиотекой. Он, говорят, за эти три года прочёл всего Толстого и вышел толстовцем. Теперь пашет землю под Тарой и ни на что не ставит. Каково? Вот это красочка была! Не то что ваши усы.

— Но аттестат? — спросил Ипполит Матвеевич. — У него ведь был отличный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем «Титанике». С Нахаловки. Давайте деньги на новую краску.

Остап вернулся через полчаса с новым флаконом.

— «Ниагара». Американская. Из Чикаго, через Владивосток, с таможенной пломбой. Изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость. Возможно, что лучше вашего «Титаника». Во всяком случае, дороже. Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски. Но изумительный каштановый цвет, придающий нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича во все краски солнечного спектра. Усы стали лиловыми с оранжевыми концами, виски — синими, а темя приобрело тот неопределённый, переливчатый оттенок, какой бывает у мыльного пузыря перед тем, как он лопнет.

Ничего ещё не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы на свете: и советские, и американские, и подпольные, на Нахаловке.

— Это закономерно, — бодро заметил Остап, разглядывая результат. — Советское с американским не смешивается. Это вам любой эмигрантский инженер с Омского завода скажет. У них там тоже дюймы с вершками не смешиваются, и тоже получается радуга. Таких усов, должно быть, нет даже у китайского маршала Чжан Цзолиня, а у него, говорят, усы самые выдающиеся на всём Дальнем Востоке. Но жить с такими волосами в Омске не рекомендуется.

Вас примут за американского миссионера из секты, которая красит волосы в цвета радуги в знак Завета, и баптисты заберут вас в хор. Придётся сбрить.

— Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. — Это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу, — повторил Воробьянинов, понутив голову.

Усы были последним, что у него осталось от Барановска. Имение отобрали мужики, особняк — Советы, омский дом — он продал сам, гарнитур пропил, жену похоронил в Калачинске, тещу тоже. Усы оставались. Они пережили Глазов, беженскую очередь, «Аквариум», тиф и девять лет войлочной подушечки. Они были параллельны линии стола, на них клали солнечные лучи, как эполеты. Без них Ипполит Матвеевич не представлял себя.

— Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, — сказал Остап, — а я пойду за стульями. Кстати, первый стул прямо над нашей головой. На нём фрейлина.

— Брейте! — сказал Ипполит Матвеевич.

4.

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Взращаемые Ипполитом Матвеевичем десятилетиями, они бесшумно свалились на пол, лиловые с оранжевым, и легли там, как два осенних листа. С головы падали волосы радикально-чёрного цвета, зелёные, синие и ультрафиолетовые.

Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана старую американскую бритву «Жилет», а из бумажника запасное лезвие, и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать в мой дебет два рубля за бритьё и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич всё-таки спросил:

— Почему же так дорого? В парикмахерской потребобщества стоит сорок копеек. Для пайщиков тридцать.

— За конспирацию, господин президент, — быстро ответил Бендер. — И за лезвие. Лезвие американское, импортное, с пошлиной. Пошлину на бритвенные лезвия, к вашему сведению, третьего дня повысила дума, чтобы поддержать отечественного производителя. Отечественный производитель бритвенных лезвий в Сибири пока один, в Новониколаевске, и его лезвия, говорят, бреют только с одной стороны. Но дума уверена, что когда-нибудь будут брить с двух.

Страдания человека, которому безопасной бритвой бреют голову, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. Посередине Остап прервал своё ужасное дело и сладко спросил:

— Бритвочка не беспокоит?

— Конечно, беспокоит! — застрадал Воробьянинов.

— Почему же она вас беспокоит, господин предводитель? Она ведь не советская, а американская. Самая передовая бритва в мире. Ею бреется сам президент Кулидж.

Но конец, который бывает всему, пришёл.

— Готово! Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть!

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие разноцветные клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся у отлива и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз за это утро уставился в зеркальце.

То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искажённое страданиями, но довольно юное лицо актёра без ангажемента. Или, подумал Ипполит Матвеевич, присмотревшись, — эмигрантского инженера, которого только что приняли на американский завод. Лицо было голое, круглое и совершенно новое. Предводителя дворянства в нём не было. Не было и Дяди Сэма. Была какая-то совсем другая жизнь, ещё не начатая.

— Теперь вы похожи на Шаляпина в молодости, — сказал Остап. — Если бы Шаляпин не умел петь.

5.

— Ну, марш вперёд, труба зовёт! — закричал Остап. — Расклад такой. Одиннадцать стульев ушли в комиссионку «Всё для дома». Комиссионки нет, бородатый в Иркутске, фамилия на «Ф» или на «В». Это плохо. Но!

Он поднял палец.

— Мы в Сибири, Киса. Вы знаете, что это значит?

— Что? — спросил Ипполит Матвеевич, впервые в жизни не обиравшись на «Кису», потому что был занят своей новой головой.

— Это значит, что каждая продажа в комиссионном магазине облагалась земским сбором. Три процента в пользу губернской управы. А раз облагалась, значит, записана. А раз записана, значит, книга продаж сдана в земское податное управление. Проштампована, прошнурована, подшита и хранится в архиве на вечное хранение, потому что в Сибири ничего не выбрасывают, а вдруг пригодится оппозиции. Там все одиннадцать стульев, Киса. С датой продажи, ценой и фамилией покупателя. Бюрократия — великая вещь. Она всё помнит, только ничего не находит. Наше дело — найти.

Ипполит Матвеевич посмотрел на Остапа с уважением. До сих пор он считал земскую бюрократию исключительно своим врагом.

— Итак, — продолжал Остап, — я иду наверх, к старухам, за первым стулом. А вы — в податное управление, искать книги комиссионки «Всё для дома» за двадцатый год. Скажете, что вы... ну, скажем, наследник одного из покупателей и хотите уточнить опись имущества. Это правдоподобно: в Сибири все что-нибудь уточняют.

— Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич. — Мне будет очень тяжело войти в собственный дом. К генеральшам. Где на моём стуле сидит фрейлина.

— Ах да! Волнующая история! Барон-изгнанник! Предводитель у ворот родового гнезда! — Остап махнул рукой. — Ладно. Мне всё равно, у меня родового гнезда нет. Вы — в податное управление, а здесь поработаю я. Со старухами я умею. Сборный пункт — в дворницкой, к вечеру. Парад-алле!

Ипполит Матвеевич надел касторовую шляпу. Шляпа, к его удивлению, оказалась ему велика: она держалась раньше на волосах. Теперь она съехала на уши, и Ипполит Матвеевич стал похож уже не на актёра и не на инженера, а на человека, который только что вышел из исправительного дома.

Остап оглядел его с одобрением.

— Вот теперь вы настоящий сибиряк, — сказал он. — Вас никто не узнает. Даже Ангелов.



Глава X. Голубой воришка

1.

Завхоз Дома призрения престарелых беженек Омского губернского земства был застенчивый ворюга. Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щёчки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной. Он называл её Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал ещё такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего заведующего, отставного ротмистра, за грубое обращение с призреваемыми земство полгода назад сняло с должности и назначило капельмейстером оркестра Омской вольной пожарной дружины. Там его грубость пришлась как нельзя кстати: пожарные любили, чтобы на них кричали. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. Он принял на себя управление домом и с призреваемыми обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Политически Александр Яковлевич был человеком предусмотрительным. Он состоял во всех трёх партиях сразу: у эсеров платил взносы, у областников ходил на собрания, у социал-демократов подписывался на газету. На выборах в городскую думу он являлся на участок с тремя значками на лацкане и опускал бюллетень, закрыв глаза, чтобы никого не обидеть. Злые языки говорили, что этому он научился у президента Вологодского. Но президент, по крайней мере, своих партий не обкрадывал. Альхен же, будучи членом трёх партийных касс, всегда немного стыдился, проходя мимо каждой из них.

Остап Бендер потянул тяжёлую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдалённое «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх вела двумя маршами дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в них торчали только медные кольца, а самих прутьев, прижимавших когда-то ковёр к ступенькам, не было. Ковра тоже не было.

«Предводитель чалдонов жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь вверх.

2.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в одинаковых платьях из грубого солдатского сукна мышинного цвета. Напряжённо вытянув сухие шеи и глядя на стоявшего в центре человека в цветущем возрасте, старухи пели:

— Из тайги, тайги гремучей...

Это был «Сибирский марш», который в восемнадцатом году пели добровольцы, уходившие на фронт, а теперь на всех праздниках пели гимназисты, пожарные и кооператоры. Земство включило его в обязательную программу губернского смотра хоров призываемых, и Альхен готовил старух к смотру третью неделю.

Старухи пели плохо. Для бывших генеральш, помещиц и одной самой настоящей фрейлины петь гимн республики, которая заключила мир с большевиками и не пошла освобождать Россию, было делом мучительным. Они пели сквозь зубы, с тем выражением лица, с каким принимают касторку. А старуха Кокушкина, вдова тульского губернского прокурора, на третьей строчке неизменно сбивалась и начинала, тонким и твёрдым голосом, совсем другую мелодию:

— Бо-о-оже, царя храни...

— Кокушкина! — кричал Альхен, краснея. — Не туда! Мы это уже обсуждали!

Предводитель хора, в серой толстовке из того же солдатского сукна и в таких же брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина, слабее! Кокушкина, вы опять в монархию ушли!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения рук, только недоброжелательно посмотрел на него и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку. Кокушкина, не сдаваясь, вела своё.

— Скажите, где здесь можно видеть господина заведующего? — вымолвил Остап, проравшись в первую же паузу.

— А в чём дело, гражданин?

Остап подал дирижёру руку и дружелюбно спросил:

— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Омской вольной пожарной дружины. Выборный.

— А удостоверение? — застенчиво спросил Альхен.

— Выборных не удостоверяют, — строго сказал Остап. — Выборных выбирают. Вы что, против демократии?

Завхоз застыдился.

— Да что вы, что вы, — сказал он, конфузясь. — Это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап. — Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. Кокушкина уходила последней и, уже в дверях, допела «...царствуй на славу нам» с чувством исполненного долга.

3.

— Пожалуйста за мной, — пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап устался на мебель первой комнаты. В комнате стояли стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано: «Коля + Маруся = Сибирь») и рыжая фисгармония.

— В этой комнате примусов не зажигают? Временных печей и тому подобного нет?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, кружок кройки и шитья, кружок изучения конституции и музыкальный кружок...

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запыхал подборок, потом лоб и щёки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы, пожертвованной дому купцом Ангеловым к пятилетию республики. Слабые лёгкие генералыш всё равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть такую громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. Прогнал он её, по иронии судьбы, той самой вольной пожарной дружине, куда назначили его предшественника. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простёршись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске того же мышинного сукна:

«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР — ПУТЬ К ЕДИНСТВУ СИБИРСКОГО НАРОДА. П. В. Вологодский».

Президент Вологодский никогда не говорил ничего подобного. Но Альхен справедливо рассудил, что президент говорил столько раз о единстве сибирского народа, что одна лишняя фраза ему не повредит, а лозунг с подписью президента земская ревизионная комиссия снимать постесняется.

— Очень хорошо, — сказал Остап. — Комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдём дальше.

Пройдя быстрым аллюром парадные комнаты воробьяниновского особняка, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утоженного мрамора были наклеены приказы по дому. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» — и, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в пожарном отношении всё было благополучно. Зато розыски клада были безуспешны. Остап входил в спальни старух, которые при его появлении вставали и делали книксен, как полвека назад перед начальницей института благородных девиц. Здесь стояли койки, застланные ворсистыми, как собачья шерсть, серыми одеялами, на которых был вытравлен армейский штамп: «Сиб. армия. 1918. Ноги».

Всё в доме поражало глаз своей чрезмерной скромностью. Одеяла и сукно Альхен по дешёвке выкупил у земства со складов Сибирской армии, которую в восемнадцатом году начали было собирать для похода на Москву, да так и не собрали, когда с Москвой помирились. Армию распустили, а сукно и одеяла остались. Так генералыши, чьи мужья мечтали в восемнадцатом году о сибирском походе на Москву, ходили теперь в форме армии, которая никуда не пошла. Меблировка дома состояла исключительно из садовых скамеек, привезённых с бывшего Александровского, ныне бульвара Кооперации, и базарных керосиновых ламп. Электричество в доме было проведено, но Альхен из экономии его не включал: лампочки он продавал.

Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно — дверные пружины.

4.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов, выписанными по американскому каталогу фирмы «Сирс, Робак и компания», единственной книге, которую он читал с удовольствием. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. Были пневматические, с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были пружины конструкций таких сложных, что земский слесарь только удивлённо качал головой и говорил, что такого не видел даже на Омском заводе у американцев.

Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такой же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы дверных механизмов дрожал весь дом. Генеральши с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. Казалось, что вернулся восемнадцатый год.

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось — стула не было.

В поисках пожарной опасности инспектор попал на кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял ещё в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, краснея до слёз. — Сибирском! С маслоартели!

Ему было очень стыдно. Масло действительно было машинное. Его приносил двоюродный племянник Сашхен, работавший сторожем на строительстве Омского завода сельскохозяйственных машин, где американцы смазывали им станки. Масло было хорошее, американское, но к каше не подходило. Это была, пожалуй, единственная вещь в Сибири, которую не умели использовать как следует: в стране, которая кормила сливочным маслом всю Европу, генеральши ели кашу на машинном.

— А! Впрочем, это пожарной опасности не представляет, — заметил Остап. — Хотя горит хорошо.

В кухне стула тоже не было. Была только жирная табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из того же солдатского сукна.

— Почему это у вас всё серого цвета, да и одеяла такие, что ими только лошадей укрывать?

Застенчивый Альхен потупился ещё больше.

— Кредитов земство отпускает в недостаточном количестве. Всё на индустриализацию уходит.

Он был противен самому себе.

Остап с сомнением посмотрел на него и сказал:

— К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.

Альхен испугался.

— Против пожара, — заявил он, — у нас все меры приняты. Есть даже огнетушитель. Американский, «Минимакс».

5.

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

— На толкучке покупали?

И, не дождавшись ответа поражённого громом Александра Яковлевича, снял огнетушитель с ржавого гвоздя, повернул его острым концом к полу, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое противное шипение, в котором явственно угадывалась старинная мелодия «Коль славен наш Господь в Сионе».

Эффект был поразительный. Из всех спален, из всех коридоров, со всех садовых скамеек поднялись старухи. Мелодию эту в восемнадцатом году играли на всех белых парадах вместо запрещённого гимна, и генеральши помнили её лучше, чем лица своих мужей. Они встали навтыжку, держа руки по швам серых солдатских платьев, и перекрестились. Кокушкина запела. Из гостиной, тяжело опираясь на клюку, вышла бывшая фрейлина и, стоя в дверях, беззвучно плакала.

— Конечно, на толкучке, — подтвердил Остап своё первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением и стоящими навтыжку генеральшами, они пошли дальше.

«Где же он может быть? — думал Остап. — Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать серого чертога, пока не узнает всё.

6.

Пока инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, Дом призрения престарелых беженков жил своей обыденной жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся перед собой в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги. Лозунги были сочинены лично Александром Яковлевичем и художественно выполнены Александрой Яковлевной:

«СИБИРЯК — САМ СЕБЕ ЗДОРОВЯК»

«ПИЩА — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»

«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЁВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ЗЕМСТВУ»

«ХЛЕБА У НАС ДОСТАТОЧНО. П. В. Вологодский»

«МЯСО — ВРЕДНО»

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших ещё до революции зубах, о мясе, которое они ели последний раз в Барнауле в девятнадцатом году, о хлебе, которого у Сибири было действительно достаточно, но только не на этом столе, и о земстве, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережёвывая пищу. Особенно мучителен был лозунг «Сибиряк — сам себе здоровяк». Старухи сибирячками не были, здоровячками тоже, и лозунг обижал их сразу по двум пунктам.

Хуже всех приходилось Кокушкиной, которая сидела напротив большого, хорошо раскрашенного чертежа коровы. Чертёж был пожертвован Американской сельскохозяйственной миссией в Омске. Симпатичная корова глядела с чертежа одним тёмным испанским глазом и была искусно разделена на части, подписанные по-английски: *sirloin, brisket, chuck, round, flank*. Ни одна из генеральш английского не знала, но все догадывались, что это что-то съедобное. Кокушкина ела кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у неё слюнотечение и перебои сердца. Мясо к обеду в доме не подавали, о чем и был лозунг.

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами земского призрения престарелых беженков. Зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. В земских книгах все пятеро числились беженками из Европейской России. Исидор Яковлевич, например, был записан как «вдова статского советника, 1859 года рождения, из Пензы». Земский инспектор приезжал проверять дом раз в год, обедал у Альхена и уезжал, так и не дойдя до столовой.

Молодые люди, самому старшему из которых, Паше Эмильевичу, было тридцать два года, не считали свою жизнь в доме призрения чем-либо ненормальным. Они жили на старушечьих правах, у них тоже были серые одеяла с надписью «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышинное солдатское сукно, но благодаря молодости и силе питались лучше призреваемых. Они крали в доме всё, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог в один присест съесть пять фунтов омуля, что однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи как следует распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь машинным маслом, встали из-за стола и пошли на кухню искать чего-нибудь удобоваримого.

Обед продолжался. Старушки загомонили:

— Сейчас нажрут, станут песни орать. И не гимн, а цыганские.

— А Пашка-то Эмильевич сегодня утром стул из гостиной вынес. С чёрного хода. Сама видела.

— Фрейлинин стул? Тот, на котором она сидит?

— Тот самый. Она на гимн встала, а он вынес.

— Посмотрите, пьяный сегодня придёт...

В эту минуту разговор призываемых был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже продолжавшее петь в коридоре «Коль славен». Громкоговоритель, установленный в углу столовой по распоряжению губернского земства, ожил, и голос из Томска начал:

— ...ление... Председатель Совета министров и министр внутренних дел Сибирской республики Новосёлов. Повторяю по буквам: Николай, Ольга, Василий, Ольга, Сибирь, Ёлка, Лев, Ольга, Василий... Новосёлов... выступил сегодня в думе... с заявлением... о ходе индустриализации... Новосёлов заявил... что американский кредит... на строительство Кузнецкого... комбината...

Труба захрипела, втянула воздух, и голос, как бы потеряв нить, неожиданно продолжал совсем о другом:

— ...собирать кедровую шишку следует не ранее августа, когда шишка созреет и сама начнёт падать. Колотом по стволу бить не рекомендуется, это вредит дереву. Министерство земледелия напоминает... шишка — национальное достояние...

Старушки, пригнувшись и не оборачиваясь на громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минует чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:

— ...министр здравоохранения Крутовский предупреждает... Владимир, Иван, Крутовский... о весеннем нашествии иксодовых клещей в тайге... Идя в тайгу, граждане, надевайте штормовки и плотно застёгивайте все пуговицы... особенно на вороте и рукавах... Клещ коварен... клещ не разбирает партий... Повторяю: клещ не разбирает партий...

— Мы в тайгу не ходим, — сказала Кокушкина громкоговорителю. — Мы и до кухни-то не доходим.

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

— ...А теперь прослушайте омские частушки в исполнении хора вольной пожарной дружины...

Далеко, далеко, в Томске, кто-то тронул балалаечные струны, и могучий бас запел:

— Эсер с областником сидели, На эсдека шурились, Вологодского узрели — Все трое зажмурились...

В Томске эти частушки вызвали бурную реакцию. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то протест трёх фракций сразу.

7.

Тем временем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки квашеную капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо кедровки.

— Новая партия старушек? — спросил Остап.

— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая инспектора плечом из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

— Беженцы с Поволжья?

Альхен замялся.

— Тяжёлое наследие большевистского режима?

Альхен развёл руками: ничего, мол, не поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих полов по американскому методу?

Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем Бог послал.

В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед графин кедровой настойки, малосольного омуля, грибочки, сибирские пельмени со сметаной, курицу с рисом и компот из сушёной черёмухи.

— Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с гражданином из вольной пожарной дружины.

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

— Пью за ваше земское хозяйство! — воскликнул Остап.

Обед прошёл весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

— Отчего, — спросил он, — в вашем богоугодном заведении такой скудный инвентарь?

— Как же, — заволновался Альхен, — а фисгармония?

— Знаю, знаю. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

— В гостиной есть стул, — обиделся Альхен. — Английский стул. Ореховый. Говорят, ещё от старой обстановки остался, от прежнего хозяина. Ножка, правда, подбита дощечкой. Но фрейлина на нём сидит и никому не уступает. Говорит, он ей Петербург напоминает.

— А я, кстати, не видел вашей гостиной. Как она в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придётся посмотреть.

— Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.

8.

В гостиной примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно. Но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. На его месте стояла садовая скамейка, а на скамейке сидела бывшая фрейлина и плакала.

Остап даже заскрипел от недовольства. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, зачем-то отодвинули фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасно поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розысках большое упорство. Все уже успокоились, а он всё ещё бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал жестяные кружки и бормотал:

— Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже.

— Грустно, девицы, — ледяным голосом сказал Остап.

— Это просто смешно! — нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший всё время огнетушитель взял самое верхнее фа, на какое способна разве что примадонна Томской оперы, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара колпак из солдатского сукна. За первой струёй последовала вторая, мышиного цвета, повалившая несовершеннолетнего Исидора Яковлевича, вдову статского советника из Пензы. После этого работа огнетушителя стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

— Чистая работа! — сказал Остап. — Американская техника!

Старухи, оставшись с Остапом наедине без начальства, сейчас же стали заявлять претензии:

— Брательников в доме поселил. Обжираются.

— Поросят молоком кормит, а нам кашу на машинном масле.

— Лампочки электрические все продал!

— Всё из дому повыносил!

— Мы в земство жаловались. Комиссия приезжала, у Альхена отобедала и уехала. Даже наверх не поднялась.

— Спокойно, девицы, — сказал Остап, отступая. — Это к вам из земской ревизионной комиссии придут. Меня дума не уполномочила.

Старухи не слушали.

— А Пашка-то Эмильевич стул этот сегодня унёс и продал. Сама видела. Фрейлина на гимн встала, а он его схватил и в чёрный ход.

— Кому? — закричал Остап.

— Продал, и всё. Перекупщику какому-то. Моё одеяло продать хотел, да штамп армейский помешал.

В коридоре шла ожесточённая борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и огнетушитель, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, в последний раз вяло выблевал струю и затих навсегда. «Коль славен» оборвался на полуслове. Старухи облегчённо сели.

Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны втянул в себя воздух, пригнул голову и, слегка покачивая бёдрами, подошёл к Паше Эмильевичу.

— Один мой знакомый, — веско сказал Остап, — тоже продавал земскую мебель. Теперь он в Новониколаевском исправдоме изучает кооперативное счетоводство. Говорят, делает успехи.

— Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Эмильевич, от которого шёл сильный запах пены.

— Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шёпотом.

Тут Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.

— Перекупщику, — ответил он.

— Адрес?

— Я его первый раз в жизни видел.

— Первый раз в жизни?

— Ей-богу.

— Набил бы я тебе рыло, — мечтательно сообщил Остап, — только Кропоткин не позволяет. Взаимопомощь, понимаешь. Ну, пошёл к чёртовой матери!

Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.

— Ну ты, вдова статского советника, — высокомерно сказал Остап, — отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно выслушал и окончил интервью словами:

— Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему уже Бендеру подошёл застенчивый Альхен и, покраснев до корней волос, сунул ему сибирский золотой червонец.

— Это статья триста семнадцатая Уложения о наказаниях Сибирской республики, — сказал Остап. — Дача взятки выборному лицу при исполнении служебных обязанностей. Карается исправительным домом до двух лет с правом пользования библиотекой.

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабжённая могучим американским прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок весом в полторы тонны.

— Удар состоялся, — сказал Остап, потирая ушибленное место. — Заседание продолжается!

А наверху, в гостиной, на садовой скамейке сидела бывшая фрейлина и смотрела на пустое место у камина, где ещё утром стоял стул, напоминавший ей Петербург.



Глава XI. Где ваши локоны?

1.

В то время как Остап осматривал Дом призрения престарелых беженков, Ипполит Матвеевич вышел из дворничкой и, чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам города, который когда-то считал своим.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнажённой мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. Касторовая шляпа, державшаяся раньше на волосах, сползала на уши, и Ипполит Матвеевич то и дело поправлял её, как поправляют чужую вещь.

Он шёл, с интересом и тревогой посматривая на прохожих. Омск он знал хорошо, но знал его другим. Он помнил город девятнадцатого и двадцатого годов: военную столицу, которая не стала столицей; город, набитый штабами, ставками, беженцами, спекулянтами и офицерами, которые сидели в кафе на Любинском и громко ругали правительство за мир с Москвой. Он помнил мокрые от шампанского скатерти «Аквариума», извозчиков, которые знали его в лицо, и лакеев, которые называли его «ваше превосходительство», хотя он им никогда не был.

Теперь он прошёл уже четыре квартала, но знакомые не встречались. Они исчезли. Офицеры разъехались: кто в Томск, кто в Китай наниматься к генералам, а кто, говорят, в инженеры на завод. Спекулянты стали кооператорами. Лакеи «Аквариума» ушли в профсоюз. А может быть, знакомые и были здесь, но постарели так, что их нельзя было узнать, или переменили одежду, походку и убеждения. Во всяком случае, их не было.

Ипполит Матвеевич почувствовал себя эмигрантом второй степени. Из России он бежал в Сибирь, из Омска в Калачинск, и теперь был чужим и здесь. Если бы он вздумал бежать дальше, бежать было бы уже некуда, разве что в Харбин. Но в Харбине, говорят, тоже всё переменялось.

Город был другого цвета. Особняки, которые он помнил облупленными, стояли теперь в лесах. Над крышами торчали подъёмные краны, похожие на журавлей, поднявших одну ногу. По Любинскому, разбрызгивая лужи, гремели тупорылые американские грузовики «Мак» с цементом для завода за Омыю. Каждый грузовик нёс на борту надпись по-английски, и каждый обрызгивал прохожих одинаково, независимо от их партийной принадлежности.

На Любинском Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Омске рельсы. Рабочие в брезентовых куртках вбивали в мостовую шпалы, а над ними на столбах уже висели провода. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к годовщине Учредительного собрания в Омске собираются пустить трамвай, две линии, Вокзальную и Заводскую. Трамвай строили на французский кредит. Французы, обиженные тем, что американцы и англичане опередили их на заводах, решили взять реванш на транспорте. Вагоны должны были прийти из Марселя через Владивосток, и в Омске уже ходили слухи, что кондукторы будут объявлять остановки по-французски, а вместо «следующая — Базарная» говорить «прошен арэ: марше». Эсеровская газета писала, что трамвай будет народный, областническая — что сибирский, а социал-демократическая — что трамвай нужен, но без французских процентов. Французы были согласны на любые эпитеты, но проценты оставили.

2.

Но больше всего Ипполита Матвеевича поразили стены.

Все заборы, тумбы, столбы и стены строящихся зданий были облеплены бумагой. Это было похоже на омскую весну девятнадцатого года, когда каждая партия и каждый атаман клеили свои приказы поверх чужих. Только приказов теперь не было. Были плакаты, объявления и листовки, и все они чего-то хотели от Ипполита Матвеевича.

На сырых телеграфных столбах ёжились мокрые объявления с расплывшимися химическими буквами: «Даю уроки английского для поступающих на американский завод», «Обучаю игре на гавайской гитаре по цифровой системе», «Перевожу дюймы в вершки и обратно. Недорого. Спросить инженера Полонского в пивной „Ермак“».

Над ними, в три человеческих роста, висели огромные официальные плакаты, изданные Сибирским правительством к пятилетию индустриализации.

С первого плаката, розовый, круглый и довольный, смотрел президент Вологодский. Он стоял в поле спелой пшеницы, на фоне дымящих заводских труб, и обнимал обеими руками два огромных бидона с маслом, как обнимают внуков. Бидоны были серебряные и сияли. Над головой президента восходило солнце, на котором было написано: «Сибирь процветает!» Внизу помельче: «Единство. Труд. Масло». Художник изобразил президента так, что по лицу его решительно нельзя было угадать, к какой партии он принадлежит, и все три партии остались плакатом довольны.

Со второго плаката строго, сдвинув брови, смотрел председатель Совета министров и министр внутренних дел Новосёлов. Он был молод, худ, в пенсне и в чёрном сюртуке и держал за шиворот маленького испуганного человечка в картузе, у которого из-за пазухи сыпались железнодорожные гайки, костыли и куски медного провода. Подпись гласила: «Ворующий на железной дороге — ворует у всей Сибири!» Человечек на плакате был очень похож на завхоза Альхена, но Ипполит Матвеевич Альхена ещё не знал и потому не оценил сходства.

С третьего плаката, сияя золотыми очками, улыбался министр финансов Михайлов, румяный, гладкий, в цилиндре. Одной рукой он показывал на груду мешков с долларами, фунтами и франками, а другой — на дымящиеся трубы. Подпись была набрана крупно и уверенно: «ВСЕ КРЕДИТЫ ВЫПЛАТИМ!» Плакату, по-видимому, верили не все. Под гордой подписью чья-то рука вывела углём, неровно, но разборчиво: «...после дождичка в четверг». Кто-то третий, более основательный, пририсовал над головой министра тучку.

Ипполит Матвеевич остановился у плаката с министром финансов и испытал к нему нечто вроде симпатии. Он сам много раз обещал выплатить все кредиты. Особенно «Аквариуму».

3.

Но не одни министры клеили бумагу на омские заборы.

Пониже, на уровне глаз, поверх объявлений о гавайской гитаре, а кое-где и поверх строгого Новосёлова, белели другие листки, отпечатанные плохо, на серой бумаге, но с большим чувством.

«ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ ОМСКОГО ЗАВОДА СЕЛЬХОЗМАШИН! — кричала одна листовка. — Завод ещё не построен, а американский капитал уже выжимает из вас пот! Восьмичасовой рабочий день — только на бумаге! Дюймы — в пользу хозяев, вершки — в пользу трудящихся! Вступайте в Союз металлистов! Долой эсерово-областническую коалицию — прислужницу Уолл-стрита! Вся власть — рабочим Советам! Сибирская организация РКП(б)».

«РАБОЧИЕ! — вторила ей другая, с чёрной каймой. — Не нужны вам ни министры, ни комиссары, ни американские мастера! Завод — тем, кто его строит! Создавайте свободные рабочие синдикаты на каждой площадке! Долой государство, долой дюймы, долой вершки! Метрическая система — единственная система вольного человечества! Да здравствует анархосиндикализм! Омская федерация анархистов-синдикалистов имени Кропоткина».

Третья листовка, от социал-демократов, призывала к тому же, но умеренно, и просила рабочих не вступать ни в союз большевиков, ни в синдикат анархистов, а только в свой, социал-демократический профсоюз, который отличался от первых двух тем, что был за рабочий контроль, но против того, чтобы что-нибудь контролировать немедленно.

Завод, из-за которого шла вся эта бумажная война, был построен пока на треть. Профсоюзов на нём было уже четыре. Американцы, по слухам, никак не могли понять, с кем из них подписывать договор, и на всякий случай подписали со всеми четырьмя, каждому пообещав, что он единственный.

Ипполит Матвеевич читал листовки с нарастающим возмущением. Шея его побагровела, бритая голова покрылась пятнами.

— Большевики, — бормотал он. — Открыто. На заборах. В Омске. И анархисты! С чёрной каймой! И никто не срывает!

Это было выше его понимания. Он помнил, что ещё в двадцатом году за такую листовку в Омске могли в лучшем случае посадить, а в худшем отдать офицерам из контрразведки. А теперь большевики сидели в думе, а профсоюз анархистов заключил колдоговор с владельцами Черемховских копей. И все они легально, по закону, с печатью и регистрацией, призывали свергнуть ту самую республику, которая им это разрешила.

— Куда катится республика? — сказал Ипполит Матвеевич вслух, обращаясь к листовке с чёрной каймой. — Это же... это же либерализм!

Проходивший мимо рабочий в брезентовой куртке посмотрел на него, на его бритую голову и сползающую шляпу и сказал добродушно:

— Это, дядя, демократия. Привыкай.

— Не желаю привыкать! — сказал Ипполит Матвеевич.

— А тебя никто и не спрашивает, — так же добродушно ответил рабочий. — У нас всех спрашивают только раз в три года, на выборах.

И пошёл дальше, к заводу.

4.

В таких мыслях Ипполит Матвеевич дошёл до улицы Демократии (он не знал, до какой из двух). В этом месте к нему вернулось давнее ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом непременно выйдет знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании.

Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольник с ящиком стекла и буханкой замазки медного цвета. За ним выдвинулся франт в американской кепке с огромным козырьком, по всей видимости, переводчик. За ним с барабанным топанием прошёл отряд сибирских скаутов в бело-зелёных галстуках, мальчиков лет двенадцати, которые шли в ногу, пели «Из тайги, тайги гремучей» и неустрашимо пересекали лужу, начинавшуюся у кооперативной лавки и тянувшуюся до самого здания бывшей Ставки.

И вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе.

Прямо на него шёл незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. И задняя ножка его была подбита дощечкой, и дощечка прибита гвоздиком — той самой Тихоновой починкой. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, будто ему выпалили в ухо.

Незнакомец был одет в коротенькое пальто с барашковым воротником и утиный картуз. Бородка у него была чёрная и неровная, топорщилась на одну сторону, как кедровая шишка.

— Точить ножи-ножницы, бритвы править! — закричал поблизости баритональный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

— Пяять, починять!

— «Народная Сибирь»! «Сибирская жизнь»! «Рабочая газета»! «Сибирский вестник» по-английски! Министр Михайлов обещает выплатить кредиты! Читайте, читайте!

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал американский грузовик с цементом. Засвистел земский милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

5.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дёрнул стул к себе. Незнакомец дёрнул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

— Грабят, — шёпотом сказал незнакомец, ещё крепче держась за стул.

— Позвольте, позвольте, — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы.

Стала собираться толпа. Человека три уже стояли поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Один из них, конторщик, достал блокнот, вероятно, чтобы записать, на чьей стороне большинство.

Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперёд, как будто ничего не было.

«Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич.

Что думал незнакомец, понять было нельзя, но походка у него была самая решительная.

Они шли всё быстрее и, заведя в глухом переулке строительную площадку, огороженную забором с американскими надписями и заваленную бочками цемента, кирпичом и досками, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.

— Позвольте же! — закричал он, уже не стесняясь.

— Ка-ра-ул! — еле слышно воскликнул незнакомец.

И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то вправо, то влево, как будто танцевал краковяк на благотворительном балу в Барановске, увёртывался от ударов противника и старался поразить его в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку врага, после чего тот мог лягаться только левой ногой.

— О Господи! — зашептал незнакомец.

И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, — не кто иной, как священник церкви Фрола и Лавра в Калачинске, отец Фёдор Востриков.

Ипполит Матвеевич опешил.

— Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула.

Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.

— Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с невозможной язвительностью спросила духовная особа.

— А ваши локоны где? У вас ведь были локоны! — с невыносимым презрением ответил Ипполит Матвеевич. — И борода была. Благообразная. А теперь — шишка!

Он окатил отца Фёдора взглядом необыкновенного благородства и, взяв стул под мышку, повернулся, чтобы уйти. Но отец Фёдор, уже оправившийся от смущения, не дал ему такой лёгкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Первая позиция была восстановлена. Оба противника стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксёры, мерили друг друга взглядами и похаживали из стороны в сторону.

Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.

6.

— Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом?

С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.

Отец Фёдор изловчился, злобно пнул предводителя так, что тот согнулся, и зашипел:

— Это не ваше имущество!

— А чьё же?

— Не ваше.

— А чьё же?

— Не ваше, не ваше.

— А чьё же, чьё?

— Не ваше!

Шипя так, они неистово лягались.

— А чьё же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.

Преодолевая боль, святой отец твёрдо сказал:

— Это сибирское имущество!

— Сибирское?

— Да-с, да-с, сибирское!

Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

— И с чего же оно сибирское?

— Естественное богатство Сибири есть достояние области! Достояние области!

— И кем это объявлено?

— Потаниным! Григорием Николаевичем! Ещё в девятьсот седьмом году!

— Я эти бриллианты из России вывез! — закричал Ипполит Матвеевич. — Из России! Через Глазов!

— А пролежали они девять лет в Сибири! — не уступал отец Фёдор. — Девять лет! Они теперь сибирские! У них сибирское гражданство! Им, если хотите знать, место в Омске, в свечном заводе, а не в ваших московских кабаках!

— А-а-а!.. — сказал Ипполит Матвеевич, леденя, как мята. — Достояние области? Так, может быть, вы, святой отец, областник?

— М-может быть!

Тут Ипполит Матвеевич не выдержал. С воплем «может быть?!» он смачно плюнул в доброе лицо отца Фёдора. Отец Фёдор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал на бочку с цементом, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.

Вдруг раздался треск: отломались сразу обе передние ножки. Тихонова досочка, честно прослужившая семь лет, отлетела первой. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Клагоискатели рванули рогожу вместе с медными гвоздиками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил по строительной площадке гнилую шерсть, и она оседала на американских бочках с цементом, как ранний снег. Гнутые ножки лежали в яме с известью.

Бриллиантов не было.

— Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь.

Отец Фёдор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.

— Вы аферист! — крикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Фёдор!

— Руки короткие, — ответил батюшка.

— Куда же вы пойдёте весь в пуху?

— А вам какое дело?

— Стыдно, батюшка! Вы просто вор!

— Я у вас ничего не украл! Я этот стул купил! За три рубля! У Паши Эмильевича! С распиской!

— Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво! Очень по-сибирски!

С негодующим «Пфуй!» Ипполит Матвеевич покинул строительную площадку и, на ходу чистя рукава пальто от шерсти и цемента, направился к дворницкой.

На заборе, мимо которого он проходил, министр финансов Михайлов по-прежнему обещал выплатить все кредиты. Над ним по-прежнему висела нарисованная тучка.

7.

На углу Любинского и Кооперативной Воробьянинов увидел своего компаньона.

Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу: ему чистили апельсиновые штиблеты канареечным кремом. Чистильщик, мальчишка-бурят, работал быстро и с уважением, как работают с дорогой вещью. Остап беззаботно насвистывал американский фокстрот, который в ту весну играли во всех омских кинематографах перед сеансом.

Ипполит Матвеевич подбежал к нему.

— Ну, как податное управление? — деловито спросил Остап и сейчас же добавил: — Подождите, не рассказывайте. Вы слишком взволнованы, прохладитесь. Вы весь в шерсти. Вы что, стригли овцу?

Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлёк его по улице.

— Ну, теперь вываливайте.

Всё, что вывалил взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.

— Ага! Небольшая чёрная борода, подстриженная на одну сторону, как шишка? Правильно! Пальто с барашковым воротником, коротковатое? Утиный картуз? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром у Паши Эмильевича за три рубля. Паша мне этого гражданина описал со всеми подробностями, когда я его прижал. Только я думал, что это перекупщик, а это, оказывается, конкурент. Духовного звания.

— Да вы погодите...

И Ипполит Матвеевич рассказал главному концессионеру обо всех подлостях отца Фёдора, о тайне исповеди, о Потанине и о сибирском гражданстве бриллиантов.

Остап омрачился.

— Кислое дело, — сказал он. — Таинственный соперник. Да ещё и с идеологией. С идеологией хуже всего: с человеком без идеологии можно договориться, а с идеологией — только опередить. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. В податное управление! Заседание продолжается.

Но в податное управление они в тот день не попали. Пока друзья закусывали в пивной «Ермак» и Остап разузнавал, где теперь помещается земское податное управление и когда в нём принимают посетителей, день кончился. Податное управление, как выяснилось, принимало посетителей с десяти до двух, кроме суббот, воскресений, праздников и дней заседаний губернского земского собрания, которые бывали по вторникам и четвергам.

Золотые битюги снова превратились в коричневых. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных пиво поднялось в цене: наступил вечер. На Любинском зажглись новые электрические фонари, через один. Рабочие у трамвайных путей сложили инструмент и, споря о том, в какой профсоюз вступать, разошлись по домам. Из кинематографа «Иллюзион» вышла первая партия публики, отсмотревшей третью серию американского боевика «Акулы Нью-Йорка». Отряд скаутов, возвращаясь с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошёл мимо и в последний раз за день пересёк ту же самую лужу.

На фасаде здания бывшей Ставки, где теперь помещался Комитет по индустриализации Сибири, таинственно светились под входящей в город луной гипсовые тигры, победы и кобры.

Идя к дворницкой рядом с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на них. В девятнадцатом году здесь сидела Ставка, и офицеры, выходя по вечерам из подъезда, очень гордились кобрами. Они считали их символом белой идеи, которая, как кобра, затаилась и ждёт. Белая идея так и не дождалась. Теперь кобры охраняли американские, английские и

французские кредиты и, судя по выражению гипсовых морд, тоже не очень верили, что их когда-нибудь выплатят.

«Найду», — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу.

Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.



Глава XII. Слесарь, попугай и гадалка

1.

Дом № 7 по Тарскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Омска. Строил его в девяностых годах прошлого века разбогатевший на казённых подрядах купец, который побывал однажды в Париже и вернулся оттуда с твёрдым убеждением, что дом должен быть красивым. Два этажа, выдержанные в забубённом стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами в оконных ключах. Морды эти были необыкновенно похожи на адмирала Колчака, хотя в те годы, когда их лепили, адмирал был ещё не адмиралом флота, а просто молодым лейтенантом, мечтавшим о Северном полюсе. Омичи это сходство заметили давно. Когда в восемнадцатом году адмирал проезжал через город, в окна дома № 7 кто-то вставил бело-зелёные флажки, и львы приобрели вид совершенно государственный. Теперь флажков не было, и львы глядели на переулоч с тем строгим и обиженным выражением, с каким глядит человек, которому дали командовать флотом, а флот оказался речным.

Львиных морд было ровно восемь, по числу окон, выходивших в переулоч. Были на доме ещё два украшения, но уже чисто коммерческого характера.

С одной стороны висела лазурная вывеска: «Новониколаевская бубличная артель „Томские калачи“». На вывеске был изображён румяный молодой человек в американском галстуке и коротких французских брюках. Он держал в вывернутой наизнанку руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные калачи, выдававшиеся по нужде и за новониколаевские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался.

С другой стороны упаковочная контора «Сибупак» извещала о себе уважаемых гг. заказчиков чёрной вывеской с круглыми золотыми буквами. «Гг.» означало «господа граждане»: владелец конторы, заказывая вывеску, не решился выбрать.

Несмотря на ощутимую разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородных предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой. Американским сукном, которое по кредитам шло для заводских рабочих, а попадало на базар; английским твидом, который по концессиям шёл для инженеров, а попадал туда же; а если попадался харбинский шёлк хороших цветов и рисунков, то и шёлком. Калачей бубличная артель не пекла никогда. Упаковочная контора ничего не упаковывала. Обе платили земский налог исправно и в срок, и податное управление их очень уважало.

Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходившие прямо на острые камни двора. На правой помещалась дощечка тусклой меди с вырезанной на ней фамилией «В. М. Полесовъ». Твёрдый знак Полесов не спилил из принципа: он считал, что вместе с твёрдым знаком в России исчезла твёрдая рука. Левая дверь была снабжена беленькой жестяной «Моды и шляпы».

2.

Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной квартиры не было ни соломки для шляп, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой. Вместо всей этой мишуры в трёхкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. Он умел говорить только то, чему его научил прежний хозяин, отставной штабс-капитан, — «На Москву!». Попугай выкрикивал это по утрам, и тогда хозяйка вздыхала.

По целым дням попугай грыз кедровые орехи и сплёвывал шелуху сквозь прутья башенной клетки на ковёр. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах висели тёмно-коричневые занавеси с блямами, и в квартире преобладали тёмно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция картины Бёклина «Остров мёртвых» в раме тёмно-зелёного полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнажённая часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мёртвых, узнать было уже невозможно.

В спальне, на железной кровати, сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье, раскладывала карты. Перед ней сидела вдова Грицацуева в пушистой оренбургской шали.

— Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. — Золотом.

Вдова, не знаящая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.

Вдова Грицацуева была пайщицей потребительского общества «Трудовая Сибирь» и уже шестой год стояла за прилавком его бакалейной лавки на Казачьем базаре. Покойный муж её, маслодел, умер от удара на годовом собрании артели, во время прений о дивиденде. С тех пор вдова искала мужа основательного, непьющего и, по возможности, беспартийного.

— Только вы, пожалуйста, будущее, — жалобно попросила она. — Прошлое я и так знаю.

— Вас надо гадать на даму трэф, — сообщила хозяйка.

— Я всегда была червонная дама, — возразила вдова.

Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, на сердце у неё лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.

Набело гадали по руке. Линии вдовы Грицацовой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец её заехал в пульс. Если линия говорила правду, вдове предстояло дожить до того дня, когда министр финансов Михайлов выплатит все кредиты. Линии ума и искусства давали право надеяться, что если вдова бросит бакалею, то подарит Сибири непревзойдённые шедевры в любой области искусства, науки или кооперации. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.

Всё это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде хиромантов, графологов и лошадиных барышников с омского ипподрома.

— Вот спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова. — Уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна, она у нас в лавке на развесе стоит. А король-то марьяжный?

— Король? Марьяжный, девушка.

— А брюнет?

— Брюнет. Высокий. Приезжий.

— Приезжий, — мечтательно повторила вдова. — Это хорошо. Здешние все в правлениях заседают, а приезжий, может, и по хозяйству поможет.

Окрылённая вдова зашагала домой.

3.

Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла на кухню. Там она повозилась с обедом, готовившимся на американской керосинке «Перфекшн», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла поколотое эмалевое ведро и вышла во двор за водой. Водопровода в доме не было: городская дума обещала провести его в Тарский переулок к пятилетию республики, но к пятилетию успели провести только в Ставку, которая к тому времени уже съехала.

Она шла по двору, тяжело ступая на плоских ступнях. Её полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек седеющих волос. Она была почти старухой, почти неопрятной, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Она наваривала себе большие кастрюли компота из сушёной черёмухи и съедала его с серым хлебом в одиночку. Попугай следил, как она ест, полузакрыв глаза серым замшевым веком.

Она шла по двору, и если бы Ипполит Матвеевич увидел её сейчас, он никогда не узнал бы Елену Станиславовну Боур, красавицу-прокуроршу, о которой секретарь барановского суда сказал когда-то стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная».

Жизнь Елены Станиславовны сложилась так, как и предсказала ей много лет назад парижская гадалка мадам де Сюри. После Ипполита Матвеевича были офицеры, потом прокурор умер в Сызрани, оставив ей пенсию, которую отменила революция. В восемнадцатом году она бежала с последним беженским эшелоном на восток и оказалась в Омске. Это и был большой город у реки, о котором говорила мадам де Сюри. Здесь она стала гадать.

Клиентура у неё была особая. Кроме вдов вроде Грицацовой, которые искали мужей, к ней ходили отставные полковники, капитаны без полков и бывшие ротмистры, которые искали будущее. Будущее у них было одно: поход на Москву. Девятый год Елена Станиславовна раскладывала карты и девятый год предсказывала им, что поход вот-вот начнётся, с первым снегом, самое позднее весной. Полковники платили исправно. Пророчество не сбывалось, но и не опровергалось, и это было лучшее, что можно было сказать о любом пророчестве в Сибирской республике.

4.

У колодца мадам Боур приветствовал сосед, Виктор Михайлович Полесов, гениальный слесарь-интеллигент, набиравший воду в бидон из-под американского бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей, перед тем как выпустить на сцену.

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, которое занимало весь Омск.

— До чего дожились, — иронически сказал Полесов. — Вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету! Американцы для завода всё скупили. Подчистую. В каждой лавке говорят: «Для мистеров бережём». А трамвай пускать собираются!

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о маслоделии выпускница института благородных девиц, думающая, что масло добывают из коров при помощи сбивания, всё же посочувствовала:

— Какие теперь магазины! Кругом одни кооперативы. И названия у них самые ужасные. «Сытый пайщик»! «Трудовая Сибирь»!

— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это ещё что! — закричал Полесов, у которого всякая тема немедленно перерастала в возмущение. — Вы трамвай этот видели? Нет? А я видел! Я на рельсы смотрел! Моторы французские, по метрической системе. Рельсы наши, сибирские, в вершках, их ещё при императоре на Омской дороге катали. А гайки к ним американские, в дюймах! Три системы мер на одном трамвае! Это не трамвай, это Вавилонская башня на колёсах! Стёкла, говорят, не на резине. Дребезжать будет! Мрак! Он с первой же стрелки сойдёт!

— А когда французы приедут? — спросила Елена Станиславовна, оживляясь. — Говорят, французы приедут его пускать?

— Приедут, — мрачно сказал Полесов. — Инженеры из Марселя. Целый вагон. Говорят, с ними будут дамы, и будут привезены наряды для кондукторш, от самого Пуаре. А ещё говорят, — он понизил голос, — что вместе с инженерами приедет полковник французского Генерального штаба. Под видом трамвайного специалиста.

— Зачем?

Полесов посмотрел на неё с иронической жалостью.

— А вы как думаете, Елена Станиславовна? Французы — это не американцы. Американцам лишь бы трактора продать. Англичанам — лишь бы уголь. А Франция — она помнит. Франция с Россией в союзе была. Франция долги русские не простила. Ей нужна Россия, а не масляная республика. Трамвай — это так, для отвода глаз. Вы что, думаете, французы стали бы в Омск рельсы везти, если бы у них не было своих соображений?

Елена Станиславовна ничего не думала, но почувствовала приятное волнение, какое чувствовала всегда, когда разговор переходил на Францию.

5.

Полесов замолк, и его чёрное лицо заблестело на солнце. Белки глаз были желтоваты.

Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем. Среди омских кустарей с мотором, которыми изобиловал город с тех пор, как американцы начали продавать моторы, он был самым непроворным и чаще всех попадал впросак. Причиной тому служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился.

В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7, застать его было невозможно. Потухший переносной горн сиротливо стоял посреди каменного сарая. По углам были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Гудрич», рыжие замки такой величины, что ими можно было запирать города, мятые баки для горючего с надписями «Харлей-Дэвидсон» и «Индиан», задняя ось от «Форда», французская тормозная колодка неизвестного назначения, детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамо-машина, гнилые сыромятные ремни, масляная пакля, стёртая наждачная бумага, японский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.